

БИБЛИОТЕКА

ОГОНЁК

№ 31

1969



Юрий ГРИБОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
МОСКВА

ТИХИЕ ОСТРОВА...

ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ДОМАШНЕГО ИМУЩЕСТВА

Страхование домашнего имущества проводится на случай гибели или повреждения его от стихийных бедствий (пожара, продолжительных дождей, внезапного выхода подпочвенных вод и т. д.); от аварий отопительной системы и водопроводной сети, проникновения воды из соседних помещений, а также на случай похищения.

● Выплата страхового возмещения производится в размере причиненного ущерба, но не выше суммы, указанной в договоре.

● Договор страхования может быть заключен на срок от 2 до 6 месяцев или на 1 год.

● Размер страхового взноса устанавливается в зависимости от местонахождения имущества и огнестойкости строений и составляет в год с каждых 100 рублей страховой суммы: в городах — от 10 до 25 коп. и на селе — от 15 до 60 коп.

Для оформления договора обращайтесь в инспекцию или к агенту Госстраха.



Главное управление государственного
страхования РСФСР

Юрий ГРИБОВ

ТИХИЕ ОСТРОВА...

О Ч Е Р К И

Издательство «ПРАВДА»

Москва. 1969

Юрий ГРИБОВ

Юрий Тарасович Грибов родился в селе Бугры, Богородского района, Горьковской области.

До 1956 года служил в Советской Армии. Был военным корреспондентом. После демобилизации из армии работал в Костроме, в Пскове. В качестве корреспондента газеты «Советская Россия» много ездил по стране.

В разные годы у него вышло несколько сборников очерков, повесть «Сильнее смерти», сборник сатирических рассказов «Дуплетом, огонь!», очерковая книга «Рубиновые серьги».

Ю. Т. Грибов — член Союза писателей СССР, заслуженный работник культуры РСФСР.

ТИХИЕ ОСТРОВА...

Я засек время и, не торопясь, обошел этот остров за сорок минут. Северный берег его обрывист, из темных расщелин сочится родниковая вода, а внизу валуны, белая кромка песка, перламутровый отблеск ракушек. Сверху видно, как дети, купаясь, далеко заходят по отмели, подплывают к соймам и лодкам. Эти широкие соймы, разнокалиберные суденышки, плоскодонки, долбленные самодельные челны, стреловидные дюралевые катера черной лентой опоясывают островок, теснятся и трутся друг о друга, покачиваясь на тихой волне.

Так же тесно, как многочисленный флот, стоят на острове и дома: земли мало, каждый клочок ее дорог. И всюду, где только можно: у дворов, в палисадниках, вдоль заборов,— зеленеют лук, картошка, кусты сирени, цветы, все ухоженное, политое, прополотое до идеальной чистоты. И царствует над всем запах свежести, чистой воды, рыбы, сохнувших на солнце сетей. Сети на стенках, на крыльце, растянуты между тополей, лежат вместо половичков у порогов.

Стоит остров в юго-восточной стороне Псковского озера, километрах в пятнадцати от устья Великой, и называют его островом имени Залита.

Раньше у него было другое имя — Талабск. А еще раньше — Александровский посад. Последнее наименование острову дали в честь Ивана Яковлевича Залита, учителя и боевого коммуниста, создавшего здесь Советскую власть и погибшего от рук беляков.

Рядом с Залита возвышается другой остров, Таловец, куда по причине его безлюдности заплывают иногда с материка лоси и пасутся здесь, спасаясь от комарья и слепней.

А за Таловцем вытянулся формой кувшина последний островок, по-старому Верхний, а теперь имени Белова. Это имя дали ему в память об Иване Сидоровиче Белове, верном друге Залита. Как и Залита, Белов, не дрогнув, не отказавшись от большевистской идеи, принял мученическую смерть от белых банд Пермикина и Булак-Балаховича.

На острове Белова есть две крохотные лесные гривы, в основном сосны, немного елок. Но называют эти гривы громко: борами. Что ж, по здешним масштабам, когда землю меряют, как дорогое сукно в магазине, и сто деревьев — роща. Жители, а их на острове немного, всего одна бригада рыбаков, берегут свой лес, холят каждую сосенку.

За леском, если подняться на высокий выступ, хорошо кругом видно. Туманная линия материкового берега, петляя, круто забирает влево, и где-то у самого горизонта как бы образуется «гирло». Там Псковское озеро постепенно переходит в Чудское. Не так уж далеко от Залита и Белова до Вороньего камня, где Александр Невский семь веков назад разбил закованных в латы немецких псов-рыцарей. В ясную погоду на моторной лодке туда несколько часов ходу.

Из трех этих островов центральным считается остров имени Залита. Здесь находятся все местные учреждения: колхозная контора, школа, аптека, сельсовет, больница на десять коек, клуб, библиотека и почта.

Николай Алексеевич Хохлов, председатель здешнего сельсовета, дал мне справку, из которой явствовало, что... «на Залита живет 804 человека, из них 745 — поголовные вековые рыбаки, 58 — рабочие и служащие и 1 — прочие».

К числу «прочие» Хохлов относит отца Николая, священника островной церквушки, бородатого старца в заштопанной рясе. Отец Николай умен и хитер, с властями ладит, сажает на острове деревья, в чистоте содержит кладбище, а проповеди к немногочисленной своей старушечьей пастве заканчивает в нужный момент призывами, что «план у колхоза, миряне, зело велик, и его надо выполнить, предостеречь мужиков и особливо с Нижней улицы, чтобы до времени не глотали ее, окоянную...».

Хохлов рассказывает об этом серьезно, вроде бы даже с некоторой гордостью за своего «прогрессивного» попа, а мне смешно и грустно. Смешно за проповедь, похожую скорее на речь агитатора, а грустно оттого, что местные пропагандисты рано сложили свое оружие, направленное против церкви, и не замечают, как отец Николай, гибко меняя тактику, внушает отсталым людям невольное уважение к вере.

— Чудно, конечно, — оправдывается Хохлов, — действующая церквушка на таком островке. Оно хоть и молятся-то три с половиной старухи, но чудно. Все как-то некогда, понимаешь ли, религией этой, будь она неладна, заняться как следует, рыба нас заела... Смирились мы с церковью, забыли про нее. А так, ежели другое что брать, то острова наши тихие, мало кто и знает про них. На большой карте они не обозначены, от мира как бы, понимаешь, в стороне стоят. Я вот в Ленинграде разговаривал

недавно с одним шофером, и когда он услышал, что дом мой на острове, удивился: «Какие еще могут быть там острова?» Видал? Обидно. Мы его снетком снабжаем, а он «какие такие острова»... Да ты и сам знаешь все, не впервой день у нас...

— Четвертый раз уже,— отвечаю я.

Мы ходим с Хохловым вдоль западного берега, ищем, где проходили раньше окопы и траншеи, и любимся закатом. Озеро спокойно, и по его темно-лакированной глади от самого горизонта пролегла золотая полоса. И необычная для материковых деревень стоит на острове тишина. Здесь нет ни одного автомобиля, нет стада и пастухов с кнутами. Коровы, а их всего несколько десятков, понуро застыли у плетней и смотрят куда-то вдаль, где есть луга, простор, мягкие сочные травы. И собаки молчат, не на кого им, бедным, полаять: кругом все свои, островные, по десять раз за день перенюханые. Только ребятишки со смехом брызгаются в мелкой воде да поет радиола в клубе, зазывая девушек на танцы.

— Вот она, родимая, где проходила,— останавливается Хохлов.— Тут как раз «сорокапятка» у меня стояла, а там два пулемета и ружье ПТР. Да, да, точно, вот тут. В траншее только и спасались...

В войну Хохлов был комендантом этого острова. Со своим усиленным взводом он освободил его в марте сорок четвертого, подобравшись ночью по мокрому льду. И держал здесь оборону до июля, отражая яростные атаки врага. Фашисты били из орудий, посылали бронированные катера с десантами, но каждый раз откатывались к эстонскому берегу, неся большие потери.

Остров был совершенно пустынен. Отступая, немцы сожгли все дома. Казалось, что жизни здесь больше не будет. И уже на западе, заканчивая войну, Хохлов часто думал об острове, а демобилизовавшись, решил съездить туда, посмотреть, как и что.

Деревенский парень за пачку махорки переправил его через пролив, и, сойдя на берег, Хохлов испугался: тишина, домов нет, по взгорью петляют змеи траншей. Он хотел было крикнуть парню, чтобы забрал его обратно, и тут за стеной лебеды увидел девушку. Она была босая, в руке держала ведро и смотрела на пришельца бездонно-синими глазами.

— А я уж думал, тут и нет никого,— улыбнулся Хохлов, не отрывая от синих глаз своего удивленного взгляда.

— А вы в землю смотрите, в земле мы живем,— сказала девушка и пошла по тропе.

Минут через пять Хохлов сидел в землянке, отвинчивал немецкую флягу, наливая, рассказывал, как был здесь комендантом, чистил вяленого леща, чокался со стариком и с этой робкой синеглазой девушкой, которую только что встретил, и все

спрашивал, удивлялся и радовался, что они, столько пережив, приехали именно сюда, на остров, хотя могли бы, конечно, пристроиться где-то на материке, на лесных хуторах.

— А как же? — вскидывал седые брови старик. — Куда же нам? Мы, чай, русские, рыбаки, тут наши деды лежат, могилки ихние, родина тут наша...

Гостил, гостил на острове Хохлов да и загостился. Справил свадьбу, остался здесь насовсем, променяв на островок свое пензенское яблочное село. И теперь у него пятеро детей: один сын в армии служит, второй на службу собирается, третий в колхозе рыбачит, две дочки учатся. А жена его, как и многие, — рыбака, и сам он поначалу рыбу ловил, а теперь вот «мэр», «президент» острова.

Как и тогда, в молодые годы, он встает по-крестьянски рано, обходит своих депутатов, заседает, достает что-то, хлопочет, и во всех этих новых домах с телевизионными антеннами, в клубе, в перевыполненных планах по ловле рыбы, в школе-восемилетке, в больнице на десять коек, в аптеке и магазине, в чистоте и зелени улиц есть, конечно, его пот и кровь, его заботы.

— Поработали вроде немало, — говорит Хохлов, — а строить еще всего — конца нет. Детсад хлопотать надо? Надо! Столовую надо? Надо! В пятницу исполком у меня, заходи, вопросы решать будем, слушаешь...

Мы договариваемся, что завтра посмотрим площадку, где возводится памятник, и я, попрощавшись, иду к тетке Дуне, куда определен на «постой» сельсоветом.

* * *

Евдокия Дмитриевна Трошанова, или тетка Дуня, родилась и выросла на острове. Все типичное для местных жителей вобрала она в свою простую и нелегкую биографию. На финской ее муж был тяжело ранен, а с последней войны не пришел совсем. С двумя дочерьми и сыном, еще малолетками, угнали ее фашисты в рабство, и там она такого повидала, что долго снились ей потом кошмары.

Вернувшись на остров, по бревнышку, по колышку, до мозолей сбивая руки, с помощью соседей построила она домик на том же месте, где он и стоял раньше. Дочери вышли замуж, а сын женился. И родни у ней появилось много: невестка Нина, два зятя, и оба Ивановы, здоровые, грубовато-ласковые, добрые. А внуков так и не пересчитать: Колька, Саня, Яшка, Таня, Лена. Это от дочек. А от сына — Витька с Сережкой. Соберутся в праздник — стульев не хватает.

У дочерей свои хозяйства, свои дома, а Евдокия Дмитриевна жила с сыном Николаем, невесткой Ниной, с Витькой и Сережкой. Мужа тетки Дуни звали тоже Николаем, и она теперь как-то особенно была довольна этим: вроде бы и не погибал ее милый хозяин, вон он во дворе топориком постукивает, точно такой же, с ног до головы вылитый...

Хорошо она зажила, покойно, но рыбаков всегда подстерегает горе: утонул Николай. Разыгралась буря, перевернула судно, ударило по голове, и нет Николая Трошанова, русого парня двадцати пяти годков от роду. Овдовела молоденькая Нина, как бы второй раз приняла вдовство и тетка Дуня, Витька с Сережкой остались без отца...

После похорон сына тетка Дуня слегла и думала, что уже не встанет, а внуки теребят за подол:

— Ба-бу-ня, а когда мамка с рыбалки приедет?

Нет, не время еще ей, видно, умирать, вот уж этих парней до женихов поднимет, тогда разве... И все свои силы, всю свою любовь стала Евдокия Дмитриевна отдавать Сереге и Витьке и их матери, работающей, ласковой Нине.

Когда я, расставшись с Хохловым, вошел в избу, бабушка Дуня оттирала ребятам керосином руки, а Нина ставила самовар. Нинин брат катал мальцов на лодке, возил их аж к Жидилову Бору, и где-то там, на причале, угораздило их переляпаться в мазуте. Время уже позднее, и ребята сомлели, отказались от супа со сметками и, вымытые, переодетые, ткнулись в подушки и тут же заснули.

А мы сидим и пьем чай, говорим о погоде, о рыбе, о последних известиях, переданных по радио. Этой весной, сообщает бабка, «гораздо хорошо ловили, снетов было — рисцы всплывали», и Нина за одну путину заработала триста девять рублей. Сам снеток густо шел, да и рыбаки старались. План у колхоза — семнадцать с половиной тысяч центнеров, а наложили уже пятнадцать. И это только в разлив, по большой воде. А ведь еще будет осенняя путина, соймы пойдут в Чудское озеро за ряпушкой, за сигом, за судаками, лещом и окунем.

— Ничего, жить можно, — говорит бабка Дуня, — такой жизни, как сейчас, не было на острове. Вот только бы тихо да мирно, а так что же не жить, жить можно... Сама еще, видишь, работаю, в сельсовете прибираюсь, то да се.

И бабка и Нина отлично разбираются в лове, в снастях, в рыбе, и, слушая их, я представляю, с каким нетерпением и радостью ожидают настоящего лова рыбаки. Лед еще не растаял, а на берегу уже толпы, горят костры, пахнет смолой, мужики, покуривая, рассуждают, что нынче у Козлова берега должна бы хорошо идти или в омуте, в городском устье, в Красных горах.

В центре внимания ветераны: Митин, Писарев, Гришанов, Дарьин. Но вот появляется Татьяна Ивановна Кочевина, молодая, быстрая, и все смолкают, слушают только ее. И не потому, что Кочевина — председатель здешнего островного колхоза. А потому еще, что по рыбацкой части она, как говорится, любого заткнет за пояс, не боится ни бури, ни бога, ни черта, дело настоящему знает, строга, правдива, умна, учена, из старинной рыбацкой семьи Кочевых. Она всех насквозь видит, слово скажет — любой ухарь поубавит прыти, замолкая, отойдет в сторонку.

Но вот лед растаял, и озеро, как бы обрадовавшись, играет бликами, весело плещет волной. Рыбаки уже в сборе, в робах, в высоких сапогах, выпаренные накануне в бане, одетые в чистое, побритые. У причала смех, шутки, провожания. Витька с Серегой держатся за свою маму, толкутся у воды, а бабка Дуня сует Нине узелок, повторяет тысячу раз сказанные слова. Взлетают весла, гудят моторы, на катерке уезжают на базу Кочевина. Хохлов и бухгалтер, представитель «Рыбаксоюза». Остров пустеет, погружается в ожидание, считает дни и часы.

И эти часы наконец приходят. Первыми замечают рыбаков мальчишки. Они видят еще никому не видимые точки на сером горизонте, истошно орут. Рыбаки сходят на берег грязные, заросшие, с красными от недосыпания глазами, но улыбчивые, довольные.

— Д-дя-я-я Ва-ня-я-я! — кричат Серега и Витька. — А мама где? Где наша мама?

— На моторке она! Сейчас подъедет! — перебивая друг друга и размахивая руками, отвечают оба Ивана. Они не ждут, когда нос баркаса ткнется в белый песок, прыгают прямо с кормы и, похожие на мушкетеров в длинных своих рыбацких сапогах, горлая, идут к берегу. Не ожидая их приближения, бросаются в чистую волну и ребята, и такой гвалт, такой визг поднимается у причала! Каждый рыбак почему-то считает своим долгом потискать и подбросить вверх обалдевших от радости Нининых мальцов, сказать им теплое слово, взъерошить огрубевшей ладонью их белесые волосенки. Подъезжая следом за баркасами, Нина видит с моторки эту сцену, и губы ее дрожат, скатываются слезы по обветренным темным щекам...

А по всему берегу уже собирают дрова, несут щепки, разводят на старой теплине огромный костер. Улов сдан на приемном пункте, но оставили рыбаки с ведро ершишек, окуньков, несколько судаков и подлещиков — как раз то, что и надо для общей традиционной ухи. Рыбаки вообще-то не так уж и голодны, и уха эта нужна им, собственно, не столько для еды, а больше,

конечно, для дружеской беседы, для завершающего, как говорит звеньевой Малышев, «антуража».

Петр Никитич Малышев еще сравнительно молод, но удал — за умелую ловлю рыбы его наградили орденом Ленина, и сейчас он возле костра, как и на озере, по праву верховодит или, вернее, больше других работает: подбрасывает щепки, расстилает на траве газеты, кладет на них соль, деревянные щербатые ложки. Малышев живет на острове Белова, и это дает повод залитским рыбакам отпускать в его адрес разные шуточки. Никаких раздоров, конечно, между островами нет, и стрелы юмора направлены в основном на известные всем смешные привычки людей или на географические особенности острова.

— Эй, Петро,— шумят залитские,— ты бы, парница, древец-то из своих королевских боров привез, очень уж дремучи у вас на Белове боры!

— А и впрямь, мужики, дремучи у них боры. Генка Чашкин да из Гавриловых кто-то заблудились, надысь, в бору-то...

— Так шли-то откуда? Из сельпо, чай, шли. А несли чего? А несли это самое, как это Райкин говорит, в борьбе с ею родимой...

Смех, взорвавшись у костра, катится по берегу, подхватывают его вышедшие встречать своих мужей женщины, старики, пенсионеры и дети, стайкой воробьев облепившие причал. Но вот уха готова, кто-нибудь из стариков, шаркая по траве валенками, подходит к котлу и по заведенному обычаю снимает пробу. Заметно дрожит в руках деда ложка, но варева не прольет он ни капли, подует сначала, пошамкает губами, отхлебнет, закатывая глаза, и обязательно сделает какое-то замечание:

— Сольцы бы самую малость...

Может, и не нуждается уха в соли, но деда уважают, бросят щепотку и посадят его потом, как и других ветеранов, поближе к костру, плеснут в граненый стакан несколько глотков водки. Эти глотки дед, задрав бороду, тянет долго и еще дольше нюхает хлеб, кашляет и крутит головой. А рыбаки, прежде чем выпить, чокаются с Ниной, которую они не отпускают от себя, подают ей огурец на вилке, ухаживают. И Нина держится просто. Не отказывается пригубить немного, зная, что тост не столько за нее, хотя и хорошую рыбачку, а за Николая, мужа ее покойного, которого так все любили...

После короткой паузы, когда слышно лишь позвякивание ложек, кто-нибудь скажет, как Нина, выбирая невод, слава богу, вовремя заметила плывущую под винт корягу. И начнутся после этого воспоминания, каждый рассказывает какой-то случай. И все эти случаи, рядовые в общем-то и будничные, наполняются сейчас глубоким, значительным смыслом. Каждый как бы за-

ново переживает ураганный ветер напротив Изменки, когда унесло брезент, перевернуло лодку и три смельчака искупались в ледяной воде. Или вот еще оказия: заглох в решающую минуту мотор в одном звене у беловцев, и понесло их под кручу, где свисали над бушующей водой толстые корневища сосен. В кровь изодрали тогда рыбаки себе руки о просмоленный канат, но баркасы удержали. Да мало ли за путину всего бывает, и ничего, помощь приходит вовремя, один, как говорится, за всех, все за одного. Сейчас хоть сети сплошь новенькие, капроновые, катера мощные, а раньше, когда колхоз после военной разрухи только на ноги вставал, когда вся надежда на весло да парус была, куда труднее порой приходилось...

— Вы как хотите, братцы, а наша речная и озерная рыбка получше морской-то будет,—дохлебивая остатки ухи, продолжают мужики разговор.

— Никакого сравнения! В Пскове как-то для интереса взял я, понимаешь ли, в магазине штуковину, рыбой саблей называется. И что ж вы, ребята, думали? Сабля и есть сабля, жесткая, запах какой-то чужой, баба моя варить ее, окаянную, отказалась...

— А вот еще есть морская рыба: капитан.

— Тоже, поди, не лучше.

— Готовить надо уметь. Бабка Дуня Трошанова состряпает — язык проглотить.

— Да нет уж... Калину как ни верти, а все она, матушка, только с медом хороша. Лучше нашего снеточка и не сыщешь, пожалуй, рыбехи...

Снеток — невзрачная, с мизинец всего рыбешка, но водится она в считанных водоемах мира, вкусна необыкновенно и является для здешних островных рыбаков основным промыслом. Все планы начинаются и заканчиваются снетком. Весной, сразу же после разлива, идет он к устью реки Великой откуда-то из глубин озера, и если взяли его в это время — колхоз в славе до нового сезона. В каждой избе после путины начинает пахнуть рыбой, и редкая хозяйка не предложит приезжему приготовленный с зеленым луком и маслом, ошпаренный кипятком, размягший ароматный снеток.

— Вот снетки свежие, вчерась только и сушили,— скажет хозяйка и нальет еще похлебки или сходит в погреб за квасом и сделает окрошку — с десяток блюд, должно быть, готовят здешние мастерицы из снетка.

Посидев еще с час на берегу, пересказав все истории, рыбаки расходятся наконец по домам.

А вечером снова собираются вместе. Но теперь уже в клубе, одетые в чистое, побритые, с женами и ребятами.

Еще утром у клуба подмели дорожки, выставили на подоконник радиолу, и она поет, заливаясь вальсами, слышна ее музыка аж у эстонских берегов. Васюха Писарев, заведующий клубом, молодой еще парень, недавний рыбак, певец и танцор, «любимец публики», покрикивает на девчонок из хора, разгоняет любителей бильярда, уставляет сцену.

Но вот все успокоились, растаял последний аккорд колхозного духового оркестра, подменявшего радиолу, и торжества начинаются. В президиуме, на второй скамейке, рядом со знатными рыбаками, сидит и Нина Трошанова. Она в голубом платье, в два ряда свисают по груди крупные белые бусы, и это новое платье, белизна украшений еще ярче подчеркивают ее темно-коричневое обветренное лицо. Нина стесняется, не знает, куда деть свои руки, прячется за широкую спину Петра Малышева, сидящего впереди.

— Вступительное слово о весенней путине,— объявляет Николай Алексеевич Хохлов,— имеет председатель нашего колхоза товарищ Кочевина!

Татьяна Ивановна говорит энергично, без бумажки, называет фамилии отличившихся на лове рыбаков, тонны рыб, катера, звенья, прибыль в рублях. Почти в каждой ее фразе слышится знакомое слово — «снеты». Не снетки, а именно снеты: так домашнему, с теплотой называют основную свою добычу все островные жители.

После короткого доклада Татьяна Ивановна начинает вручать премии и подарки передовым рыбакам. В зале становится шумно. Каждого премированного от сцены и до места сопровождают аплодисменты, яростные всплески духового оркестра, выкрики.

— Разверни, Ваня, бумагу-то, покажи награду!

— Обмыть надо, а то заржавеет!

Получила подарок и Нина Трошанова. Обеими руками взяла она сверток, не поднимая глаз, быстро прошла на свое место и положила его на колени. Ей не терпелось поскорее узнать, что там, под бумагой, да неудобно было в президиуме разворачивать стянутый веревочкой сверток. Но вот она увидела из-за спины Малышева тетку Дуню, свекровку свою, и ребят, сидящих с ней рядом, и осмелела, надорвала уголок. Отрез цветастой тонкой материи — вот что вручили рыбачке Нине Трошановой.

Этот отрез она внимательно рассмотрела уже после торжественного собрания вместе с бабкой Дуней и сыновьями. Они пересели ближе к сцене, чтобы получше видеть концерт, или, как говорит бабка Дуня, представление.

— Хорошее, Нина, платье выйдет. И голубенькие эти цветочки как раз к твоим глазам. Ну как раз...

— Вниманис, внимание! — кричит со сцены Василий Писарев. — Я па-а-апрасил бы, — ударяя на «а» и несколько рисуясь, продолжает он, — я папрасил бы, граждане рыбаки, абсолютно-го внимания, поскольку наша труппа, если рассматривать ее с точки зрения районного смотра, где мы, как вам известно, заняли хотя и не первое место, но...

— Кончай болтать, Васька! Тарапуньки все равно из тебя не выйдет! Начинай! — шумят в зале.

Медленно раздвигается занавес, и перед зрителями предстает хор — гордость колхоза. Женщины в длинных платьях, мужчины при галстуках, на лицах — строгость, сознание ответственности.

— Ишь ты, мать честная! — шепчет, покачивая головой, бабка Дуня, — Верку-то и не узнать! А Митрий-то наш — артист, фу-ты ну-ты...

Бабка Дуня очень любит представления в клубе, и каждый раз удивляют ее и радуют местные артисты. Вот только в полдень смолил лодку сосед по дому, а сейчас он, простой мужик, изображает купца первой гильдии, гладит приклеенную бороду, сердито стучит палкой, и если бы не знакомый голос да пулевой шрам на лбу, ни за что бы не узнать его. Самодеятельность на островах славится массовостью, среди рыбаков много и певцов, и баянистов, и танцоров, декламаторов, балалаечников. Недаром на путине, когда соймы заходят для ночлега в тихие заливы, подолгу не смолкают песни. Покачивает суденышко легкая волна, тлеют в чугунной печурке угли, а рыбаки, поужинав, слаженно тянут старинные «страдания», и плывет над водой их грустная песня, растворяется в белой северной ночи.

Сегодня артисты в особенном ударе. Сцена содрогается от топота ног, заливается баян, колесом ходят плясуны, сменяют друг друга певцы, и бабка Дуня, прижимая к себе внука, чувствует на щеках теплые слезы, лезет в карман за платочком. Притихла, задумалась и Нина, сошлись у переносья ее белесые брови. А молоденькая певица выводит песню за песней...

* * *

— Эй, Дуня! Где твой постоялец? — стучит в окошко Хохлов. — Зови его, к памятнику пойдём...

Еще в первый день моего приезда обещал Николай Алексеевич показать памятник, но времени у него не было, и вот только сегодня идем мы с ним к тому священному месту, о котором много говорят на островах.

— Проблемы, понимаешь ли, замучили,— жалуется Хохлов, уступая мне тропинку, петляющую в зарослях иван-чая.— Уйду,

наверно, я с этого поста... Годы, понимаешь, не те, нет уж той прыти...

— А какие проблемы-то?

— Да мало ли! Сейчас вот безвременье наступает, рыбу до конца лета ловить не будем. Надо сено заготавливать, дрова. Опять же крыш худых много, а кровли по разнарядке отпускают — нервотрепка одна. Телевизоров, понимаешь ли, машин стиральных накупили, есть они в магазине, а шиферу несчастного — днем с огнем не сыщешь. Ну и это самое... бациллы имперализма у нас летом на островах развиваются...

— Какие еще бациллы?

— Обыкновенные. Безработица. Многим делать абсолютно нечего. И занять нечем. Хотя бы мастерскую какую-то открыть, артель организовать. Дело это, конечно, колхозное, но ведь болит сердце, придумывать что-то надо, решать в комплексе. Да вот еще милиция, будь она неладна.

— А милиция при чем?

— Невзлюбил у нас на островах милицию. Как огня боятся милиционера, хотя он к этому делу касания вроде бы не имеет. Из-за снетов все пошло, из-за рыбоварки. Колхоз каждому, если план выполнен, отпускает по сто килограммов снетка в год. Вот эти-то сто килограммов и называют здесь рыбоваркой. Нельзя же, живя у воды, рыбы не видеть. Что это будет за рыбак, если у него дома нет на суп горсти снетов? И колхоз дает рыбу. Это по закону положено. Но в этом же законе есть, понимаешь ли, маленькая оговорочка: «...без права продажи». Хоть лопни, но сам весь снеток съешь или выброси. А на базар — не смей. А как же без базара той же, скажем, Нине Трошановой? Надо и это купить и то. И вот идут рыбаки на базар, а их там ловят — и в милицию, судят. Таких конфликтов — десятки. Я как представитель Советской власти ставлю вопрос категорически: неправильно это. Мы уже в Москву бумагу написали. Областные власти, понимаешь, палку гнут.

Недоволен Хохлов был и планированием, которое позволяло вылавливать иногда нерестовую ряпушку, жаловался на районный исполком: мало внимания островам уделяют, особенно торговле и быту. В его голосе, правда, не было того «критического металла», говорил он в общем-то довольно добродушно, и я, зная крестьянскую прижимистость «мэра», хорошо понимал его психологию: не прибеднишься — не разжалобишь, не попросишь — не получишь, под лежащий камень вода не течет.

— Проблемы всегда будут, — как бы читая мои мысли, говорит Хохлов. — Обидно только, когда, понимаешь, в лень да головопотяпство упирается дело. Левее давай, левее, тут поближе и крапивы нет...

Мы подходим к памятнику. Его пока еще, собственно, нет, но все так говорят: памятник. Он скоро будет. Вот на этой зава-ленной кирпичами площадке и взметнется ввысь серый обелиск, а на обелиске загорится красная звезда. Звезда уже готова, ее привез из Москвы земляк рыбаков генерал Матаев. Красный огонь будет виден за десятки километров, он будет служить маяком проходящим судам. Поплывут туристы в Тарту, вспомнят Ивана Яковлевича Залита, Ивана Сидоровича Белова, Александра Васильевича Шляпникова, Осипа Ивановича Хорева, Ивана Ивановича Галахова... Пойдут рыбаки к Вороньему камню за ле-щом и сегом, поклонятся героическим землякам своим...

Хохлов на моторке возил меня к тому месту, где были рас-стреляны и сброшены в воду островные большевики. Их взяли ночью воровским путем. Это было в первых числах октября во-семнадцатого года. На псковской земле бродили тогда банды Бу-лак-Балаховича. Отряд Пермикина, куда входило немало купече-ских сынков с островов, в том числе и Федоров, злобный бело-гвардеец, на рассвете под прикрытием тумана подкрался к Та-лабску на бронированном пароходе и открыл пулеметный огонь. Часовые Николай Прусов и Василий Екимов были тут же среза-ны очередями. Белогвардейцы цепью, стреляя на ходу, побежали по улицам. Они торопились к домам большевиков Хорева, Гала-хова, Шляпникова, Залита и Белова. Они знали здесь каждую тропинку. За каких-то полчаса все коммунисты, за исключением Белова и Залита, были арестованы.

— А где же основные главари? — стучал маузером Перми-кин.— Сыскать немедленно!

— Белов, ваше благородие, находится сейчас на острове Верхний,— услужливо сообщили местные кулаки,— а Залита, самый-то вождь ихний, в Толбице ночует, в крайней избе. Это точно, ваше благородие, наши сказывали, что из Торошина он возвращался и остался на день в Толбице, чтобы, значаща, боль-шевистскую ересь среди крестьянства пуцать. Можем показать, ежели что, сопроводить...

— А ну, живо! Взять всех и ко мне!

К вечеру все пятеро большевиков были заперты в сыром, темном трюме парохода. Иван Яковлевич Залита уже не мог двигаться: его сильно избили при аресте. Товарищи как могли ухаживали за ним. Они любили своего вожака. Иван Яковлевич приехал на остров еще в шестнадцатом году и заведовал пяти-классной школой. С аккуратной профессорской бородкой, в пен-сне, он казался спокойным, безвредным интеллигентом. Царс-кие власти и не подозревали, что этот хрупкий учитель создал на крохотном острове, где все на виду, подпольную большевист-скую организацию. Под видом рыбалки революционеры выез-

жали на лодках к нижней протоке и проводили там собрания, читали книги Ленина. И все чаще и чаще рыбаки, настроенные коммунистами, высказывали недовольство.

— До каких это пор кучка богатеев всех нас в кулаке будет держать? У них и сети, и соймы, и деньги, а у нас ничего! Когда справедливость наступит?

Справедливость наступила после Октябрьской революции. Иван Яковлевич Залита побывал у Ленина. Он возглавил Советскую власть на Талабске. На острове Верхний единогласно был избран в Совет Белов. Осипа Ивановича Хорева партия назначила комиссаром красноармейского островного отряда. Галахов и Шляпников возглавили комитет бедноты.

Опасное и голодное тогда было время. Коммунисты не спали ночами, недоедали, ходили в чем попало, но не унывали, верили в ленинскую правду. Они были настоящими, верными бойцами, и сколько раз видели люди, как Иван Яковлевич Залита или Белов, выбивая для рыбаков снасти, хлеб, керосин, одежду и обувь, буквально падали от истощения и усталости. Жителям запомнился случай, когда Залита нес на своих худых плечах моток снетковой сети, четыре буханки хлеба, полпуда соли и где-то на пути к Толбице упал на дороге. Узнала его старуха из Жидилова Бора, всплеснула руками:

— Сердешный, да в чем у тебя душа-то держится? Ведь ты же учителем был, а теперь, говорят, самый большой начальник на Талабске. Что же это ты, милый, хлеб несешь, а сам с голоду валишься?

— Дети у нас, мать, пухнут, двадцать детей...

— Святой ты человек, соколик, хоть и антихристова печать на тебе. Когда это, господи, такие-то начальники бывали? Держи-ка, родимый, вот ситничка кусок. Да и пойдем, я помогу тебе...

Вот такими они были, коммунисты с рыбацких островов. Немного успели они сделать. Но ничего. Доделают другие. Теперь уж наверняка доделают. По-человечески заживут рыбаки. Хотелось бы увидеть ту жизнь своими глазами. Но, видно, не судьба. Не оставят в живых беляки. Не за этим ловили...

Бурлит за железной стенкой вода. Через тусклый иллюминатор виден лесистый берег. И вдруг звон замка, резкая команда:

— По одному на палубу поднимайся!

Вышел из трюма Шляпников. Белов и Галахов вывели Залита. Встал рядом с ними Хорев. Стоят коммунисты, смотрят на палачей. Где-то слева, в пяти—семи километрах, их семьи. У Ивана Яковлевича Залита два сына. У Галахова десять ребят — мал мала меньше.

— На-а-а-чинай! — орет Пермикин.

Для устрашения коммунистов расстреливали по одному и, привязав к ногам груз, сбрасывали в озеро. Умирая, никто из них не дрогнул.

Об этой трагедии долго никто ничего не знал. Потом пошел слух, идущий от команды парохода и от белых солдат. А затем и тела убитых нашли. Ивана Яковлевича Залита отнесло к деревьям Молгово и Жидилов Бор. Его легко опознали по профессорской бородке и по истертой тужурке, в которой он последнее время ходил. На своем кладбище крестьяне и похоронили его.

А Шляпникова, Хорева и Галахова прибило ближе к своему острову, к дому. У Хорева были отрублены кисти рук и ноги по колено. Следы шашек зияли на телах и его товарищей.

Место захоронения Белова неизвестно.

— Вот тут сбрасывали их в воду,— показывал мне Хохлов, когда приплыли мы с ним на моторке к месту казни.— Рыбаки наши, проходя здесь, шапки снимают...

Мы долго молчали тогда. Берега были еще видны. Белела колокольня на острове. Тяжелые капли воды мягко падали за бортом. Озеро лежало покойно. Утки рядом с нами снимались с воды и летели в сторону отмели, к травянистой камышовой луговине. Подсвеченные солнцем, красновато, точно подтеки крови, шевелились придонные растения.

— Мы никогда их не забудем,— сказал Хохлов, вздыхая.— Я сынов своих возил сюда, рассказывал...

Эти слова насчет сынов он повторяет и здесь, возле будущего памятника.

— Молодежь у нас крепкая,— говорит Николай Алексеевич, раскрывая папиросную пачку.— Традиции хранит свято. Вот хоть Галахова взять. Он ведь, как я говорил, десятирých детей оставил. И все стойкостью в отца пошли. Жenu его тоже к виселице за связь с красными уже подводили. Чудом спаслась, жители заступились. Все это старший сынок их видел, Саша. Он стал таким же бойцом, как и отец. Юнцом еще комсомольскую ячейку возглавил, братьев своих и друзей на борьбу поднял. Смерть и над его головой не раз витала, но выстоял парень. Военкомом был потом. И погиб на границе в первом бою с фашистами. Его имя вместе с отцовским на памятнике выбьем. И имена братьев его, отдавших жизнь за Родину...

Хохлов поднимает кусочек гранита, отколовшийся от плиты, гладит его пальцами и бережно убирает в карман.

— И в эту, последнюю войну тоже был случай,— продолжает он после некоторого раздумья.— Когда освободили мы остров и народ постепенно вернулся сюда, мальчишки пришли к наше-

му офицеру и зовут его с собой, что-то показать хотят. Только, говорят, пусть солдаты с лопатами еще пойдут, что-то раскапывать надо. Раскопали солдаты землю возле одного пепелища и видят какой-то предмет, завернутый в одеяло. Развернули — а это бюст Ильича бронзовый. Возле школы он на постаменте стоял. Фашисты его сбили и закрыли в сарае на берегу вместе с цветным ломом. Ребята ночью подкрались и унесли этот бюст из-под носа часового. На второй день, когда баржу грузили, толстый фельдфебель из хозяйственной команды обнаружил пропажу. Долго лютовали немцы, разыскивая бюст. Шомполами били, расстрелы имитировали — никто ни звука. Их, фашистов, видно, не так сам бюст задел, как упорство, стойкость рыбаков. В школе теперь этот бюст, в пионерской комнате...

— А где те ребята, которые прятали его?

— Теперь они уж не ребята. Ты видел их, когда уху-то варили. Соловьев, Капкин и Анашкин. Передовые рыбаки. У самих уже сыны в армии служат. Да мало ли у нас крепких людей! Острова наши маленькие, но ведь, сам знаешь, это кусочек России, кусочек всей Родины...

* * *

Как и всегда, не хочется покидать остров, но надо.

В воскресенье в полдень, попрощавшись со всеми, я уезжаю на «Ракете», идущей из Тарту на Псков. «Ракета» останавливается в некотором отдалении, и мы, пассажиры, подплываем к ней на лодке. День сегодня как по заказу: тихо, на бледно-голубом небе ни облачка. На берегу, возле правления, Татьяна Ивановна что-то говорит Хохлову, а тот, размахивая тощей дерматиновой папочкой, с которой он обычно ходит на сессии, видимо, возражает ей, с чем-то не соглашается. Рыбаки волокут в заливчик старую сойму. Нина Трошанова, стоя по колено в воде, чистит песком ведро. Серега и Витька глядят соседскую собаку. Два Ивана, зятя бабки Дуни, несут по улице доски. Путаюсь в рясе, куда-то спешит отец Николай.

— А-ня! Анюта! — кричат с берега. — Будешь в городу-то, дак дрожжей не забудь и батарею Андрюшке для «Спидолы»!

Мы перебираемся из лодки на палубу, и «Ракета» срывается с места. Я вижу, как Нина, Серега и Витька машут рукой. Я отвечаю им до тех пор, пока белый бурун, разрастающийся за кормой, не скрывает их из виду. Ветер шевелит волосы. Колючие брызги летят в лицо. И вот уже все исчезает, тонет в зыбком мареве. И жадные чайки отстали, вернулись к острову. И грустно становится, словно потерял что-то...

КОРОЛЕВА РУССКОЙ ПЕСНИ

К вечеру разгулялась метель, и дорогу так передудло, что пришлось ночевать на лесном хуторе. Знакомый тракторист накормил нас зайчатиной, а потом пригласил на «посиделки» к соседям, у которых стоял большой новый телевизор.

Пела Людмила Зыкина. Приподняв слегка голову и как бы зорко всматриваясь в даль, она пела «Ивушка», «Степь», «Лишь ты могла, моя Россия», «Течет Волга», «Лен», «Оренбургский пуховый платок», «Растет в Волгограде березка», «Рязанские мадонны»...

Это были довольно известные песни, не один раз уже слышанные, но удивительная тем не менее стояла в избе тишина. Я сидел сбоку, у окна, и видел, как лица хуторян, синеватые от экранного света, преображались: то были они задумчивы, то тихая грусть влажной теплотой наполняла их глаза, то лукавство и радость трогали губы. И ведь держалась-то Зыкина просто, не делала, как некоторые певицы, разных там эффектных движений и поворотов, а, вот поди ж ты, трогала и волновала душу, звала и уводила куда-то, словно давно уже знала и конюха Митрича, вернувшегося с войны с деревянной ногой, и хозяйку дома, которая еще в сорок третьем отдала последний мешок картошки, чтобы увеличить для памяти единственную крохотную карточку мужа, и молодую доярку Анюту, и нашего знакомого тракториста Ивана, заядлого охотника, гармониста и балагура...

Пела Зыкина, и перед нами вставала Волга с яркими закатами, березняки по косогорам, зыбкие волны спелых хлебов, поля и дороги. Пела она — и в избе свежо пахло снегом, цветущими льнами, слышался звон колокольчика, смех девушек и вздохи парней, гудки пароходов на широкой реке...

Когда концерт кончился, все долго сидели молча. Только хозяйка, вздыхая, принялась убирать со стола да Анюта, отыскивая в темных сенях щеколду, напевала вполголоса, подражая певице:

Что было, то было,
И нет ничего.
Люблю, как любила,
Его одного...

Пора уже было спать, а мы, расположившись у Ивана, говорили о песне. За стеной люто завывала метель, скрипела в палисаднике старая липа, а в наших сердцах еще жило то приподнято-блаженное состояние, какое всегда бывает при встрече с настоящим искусством. Такое состояние иногда держится днями, и сладкая боль его, словно бодрящий напиток, дарит тебя вдохно-

вением, радостью и силой. Ходишь ли ты по улицам, едешь ли в поезде и, сам того не замечая, начинаешь вдруг мысленно напевать знакомый мотив, думаешь о чем-то хорошем, хочется тебе сделать доброе людям, сказать им, что жизнь прекрасна и нет этой жизни конца. Ты благодарен певичке за то, что она сумела вдохнуть в тебя эту радость, заразила своим волнением, отдала частицу своей горячей души, заставила задуматься и оглядеться вокруг. Ведь любые, самые умные слова, пропетые равнодушно, не пропущенные через собственное сердце, не тронут, не взволнуют, не позовут. Значит, каждая песня — это огромный труд, переживания, поиски...

Как-то в Риге мы с поэтом Виктором Боковым зашли за сцену театра, где должна была выступать с обновленной программой Людмила Георгиевна Зыкина. Эта программа, наполовину состоявшая из песен на стихи Виктора Бокова, пользовалась в Латвии шумным успехом, трудно было достать билеты. Людмила Георгиевна была в Риге уже больше недели, порядком, что называется, «обкатала» свою программу, и когда Боков намекнул мне о каком-то ее волнении, я, видевший ее на концертах спокойной, несколько удивился.

— Это только так кажется, что спокойна, — сказал Виктор Федорович. — Талантливый, честный певец — это не пластинка, не магнитофонная лента. Сто раз будет петь, скажем, тот же «Лен» и сто раз заново волноваться. И не просто волноваться перед концертом. Это само собой. А каждый раз перевоплощаться, отдавать людям частицу себя, потому что душевный настрой механически не запомнишь, не передашь. Зыкина никогда не повторяется. Она всегда свежа и нова в своих песнях. Да, кстати, где же она? До начала пол часа каких-то осталось...

Людмилу Георгиевну мы нашли в коридоре. Одетая в длинное белое платье, она медленно ходила вдоль стены, и темно-карие глаза ее были задумчивы и, как мне показалось, грустны. Она отвечала на наши вопросы, шутила, а грусть эта, вернее, душевная работа, творческое внутреннее горение, свойственные всем художникам, не гасли, не проходили.

Но вот дали последний звонок, послышалось вкрадчивое «Вам пора», и Зыкина, расправив плечи, как бы сразу застыв, тихо и важно — само спокойствие — зашагала в глубину сцены...

Мы быстренько спустились по боковой лестнице и сели в первом ряду. Баянисты Анатолий Шалаев и Николай Крылов выводили мелодию, разыгрывались, а Зыкина посматривала в переполненный зал и словно искала там защиты. Наконец она запела:

Я его вечера-ами-и вя-за-ла-аа
Для тебя, моя добрая мать...

Соседи мои — пожилые люди. Старик со старухой. Слушая, они иногда переглядываются, кивают друг другу головой. Потом я вижу, как старик взял руку своей спутницы и гладил ее, никого не замечая. Я бы, разумеется, не обратил на это никакого внимания, если бы соседи мои были молодыми. А они уже в таком возрасте...

И тебя, моя ма-ма-а, согре-ет
Оренбургский пухо-о-вый плато-о-ок...

Эти же песни, старинные и современные, пела Людмила Зыкина и в Америке, в Австралии, в Новой Зеландии, Японии, Франции, и везде ее понимали, чувствовали дыхание России, всей Советской страны. Она рассказывала о красоте и благородстве наших людей, особенно русской женщины, о ее нежности и величии, о гуманном мужестве и любви. На сцене, перед публикой, она сама становится той героиней, о которой поет, и это увеличивает силу воздействия ее песен.

Не так давно в Австралии, где Людмила Георгиевна выступала в разных городах, после одного из концертов к ней подошел высокий, худой человек. На щеках его были слезы. Он снял шляпу и, припав на колено, сказал:

— Я русский, сударыня, и благодарю вас, что вы мне еще раз напомнили об этом. Я горжусь вашей Родиной, хотя никогда и не видел ее. Я увидел ее сегодня, слушая ваши песни...

Иностранцы встречали Зыкину у гостиниц, махали руками, просили автографы. А однажды, когда она была в Японии, в номере раздался звонок. Людмилу-сан, сообщила токийская телефонистка, вызывала Америка: семья одного мистера поздравляла королеву русской песни с днем рождения...

* * *

Покоряющую силу песни Людмила Георгиевна узнала от своей бабки Василисы. Бабку за добрый характер величали ласково: Васюта. Была она родом из-под Рязани, носила широкий сарафан, и водилось за ней, по мнению маленькой Людмилы, одно чудачество: любила она петь. Все, бывало, напевает, то жалобно, то весело, с улыбочкой, с жестами.

А когда умер дед и Васюта вместо того, чтобы плакать у его гроба, поставленного посреди комнаты, вдруг скорбно и протяжно запела, Люда не выдержала и дернула бабушку за сарафан:

— Как тебе не стыдно, бабуня!

Потом уже, когда деда зарыли в могилу, Васюта посадила внучку на колени и сказала:

— Песней, лапушка, любую тоску-печаль перескажешь, любой радости нарадуешься. Вот послушай-ка...

И она запела, подперев щеку ладонью. Уж очень чисто и как-то доверительно у ней выходило. Все было ясно из ее песен.

И мать Людмилы, Екатерина Васильевна, тоже любила петь. Выйдут они с бабкой на крыльцо, как зятянут, и вскоре, смотришь, целый хор соберется. Сидят, распевают, а перед домом березки шепчутся, пчелы гудят в диком клевере. Жили тогда Зыкины на окраине Москвы, в Старых Черемушках. Это была деревня, совхоз.

Много песен переняла Людмила от бабки Васюты. Про чистое поле и про дороженьку, про милого и про судьбину горькую. Она их пела украдкой, когда ей было весело и когда грустно, тяжело.

А тяжелого да печального в ту пору уже хватало. Началась война. Отец Людмилы, рабочий, ушел на фронт. Остались они вдвоем с матерью. Писем ждали, слушали радио, стояли в очередях. По ночам над Москвой вспыхивали прожектора, где-то страшно бухало, горело, и Людмила, проснувшись, бежала в такие минуты к соседям. Мать ее работала санитаркой в больнице, дежурила там сутками, и жутко было Людмиле одной в маленьком деревянном доме.

Потом она, не сказав матери, пошла наниматься на завод имени Орджоникидзе. Вначале ей наотрез отказали: уж очень мала. Но затем взяли все-таки учеником токаря.

Взяли и не пожалели: смышленная оказалась девчонка, выносливая, боевая. И в школе рабочей молодежи успевала учиться и станок быстро освоила.

— Быть тебе, девка, инженером,— сказал мастер Людмиле, когда она успешно сдала на очередной разряд и обучила токарному делу пятерых мальчишек.— Талант у тебя к этому явный...

Инженером так инженером, какая разница. Все тогда Людмиле Зыкиной нравилось. Но больше всего любила она песню. При больнице, где ее мать работала, был неплохой коллектив художественной самодеятельности. Вот там она и попробовала свои силы. Заставляли Зыкину не только петь, что она хотела, но и чечетку отбивать, цыганочку, танец с шаялями исполнять. Выступала она и в клубе совхоза, перед ранеными в госпиталях. Аккомпанировала себе на гитаре и пела военные частушки, романсы и те песни, которым у бабки Васюты выучилась. Слушали ее раненые охотно, аплодировали, подолгу не отпуска-

ли. И Людмила понимала: песня — это не шутка, и действует она на людей неотразимо, если относиться к ней серьезно.

Но серьезности-то ей как раз и не хватало. Она пела все подряд. Фронтная так фронтная, старинная так старинная. Что же делать, коль просят? Но и эти песни и этот ее природный дар уже действовали на людей сильно, и не раз благодарили ее со слезами:

— Милая, спасибо тебе... Спой опять «Что во поле пыльно»... Спой, очень просим...

Однажды, уже после войны, пошла Зыкина с подружками в кино. И, гуляя перед сеансом, увидели они большую афишу, извещающую о начале второго тура конкурса певцов в хор имени Пятницкого.

— Иди, Люська, пусть тебя знаменитости послушают, — упрасивали подруги. — Боишься? Слабо? Иди скорее, трусиха, шесть порций мороженого получишь...

И она пошла: шесть порций мороженого все-таки. Открыла дверь, поздоровалась робко и сказала, что, вот, мол, так и так, спать хочет, зовут Люда, восемнадцать лет скоро, на заводе работала, а теперь швея.

— Ну, что ж, Люда, пой.

— А чего?

— А чего хочешь.

Она вздохнула, убрала за рукав платочек и запела «Уж ты сад, ты мой сад». Ее попросили повторить эту песню в разных тональностях и сказали затем, когда она все выполнила, чтобы далеко не уходила.

После кино она узнала: прошла на третий тур. Ела купленное подружками мороженое и думала: говорить ли об этом матери? Обрадовала она мать только в день последнего конкурса, когда из четырех тысяч претендентов взяли в хор четверых, в том числе и ее.

— Мама, я теперь артистка! — закричала она, не успев переступить порог.

— Знаю, что ты у меня артистка... Вон каблуки-то как пиллой спилила...

— Да, ей-богу же, мама! В хор меня приняли! В хор имени Пятницкого!

* * *

Талант — это труд, постоянный, упорный. Одаренность сама по себе, если надеяться лишь на этот «божий дар», успеха не принесет. Одаренность — это всего-навсего указатель к победам, тоненький лучик, который надо разжечь в яркое пламя.

Такой примерно беседой встретили Зыкину «отцы» хора Владимир Григорьевич Захаров и Петр Михайлович Казьмин. Эти люди да еще Николай Васильевич Кутузов, художественный руководитель хора русской народной песни Всесоюзного радио и телевидения, где потом работала Людмила Георгиевна, помогли ей стать певицей. Она поняла, что исполнительница русских песен должна не просто петь, а уметь еще рассказывать песней то, что чувствует.

Но понять — это еще полдела. Надо спеть так, чтобы твое настроение передалось другим, чтобы душа песни была раскрыта, подана, как говорится, на ладони. Зыкина училась, приглядывалась к другим. Ей нравился низкий по тембру голос Колодиной, мягкость звучания Прокошиной, особая задушевность Подлатовой. Она слушала их жадно, старалась понять, откуда берутся такие тона и краски. Она завидовала тому, как эти артистки стоят в своем ряду, как запевают, ходят по сцене, одеваются. Она часто ловила себя на том, что где-то в трамвае или в магазине, вдруг забывшись, начинала потихонечку напевать, подражая старшим коллегам.

Подражание ее было замечено в хоре. Ей напомнили, что научиться копировать — это не столь уж хитрое дело. Надо свою манеру создавать, свой голос выковывать. И еще наметнули ей: поют не только голосом, но и головой, сердцем. Песню надо выстрадать, родить в муках, тогда она свободно и легко польется...

Николай Васильевич Кутузов, разгадав возможности Зыкиной, стал придирчиво следить за ее манерой, не разрешал петь громко, давал ей песни протяжные, лирические и чтобы исполняя она их без сопровождения. Зыкина пыталась вначале протестовать, ссылаясь на то, что руководитель, мол, суживает ее диапазон, что она может выступать и в другом плане. Но потом поняла, насколько прав оказался Кутузов, и была ему благодарна. Запрещение петь громко определило тембровую окраску ее голоса. Песни без сопровождения отрабатывали чистоту звучания.

Хорошо у нее дело пошло, быстро набирала она силу, но тут несчастье случилось: заболела, пропал голос. Не может петь — и точка. Не получается. А что за певица без голоса? Это все равно, что безрукого вратаря на поле поставить или того хуже. Тот хоть ногами сможет отбиваться, а этой нечем, нет оружия...

Уехала она в Подольск, поступила работать в типографию. Училась, тосковала, но надеялась. Много читала в это время, слушала знаменитых певцов, думала об их судьбе и творчестве, вела занятия в кружке художественной самодеятельности.

А через год вновь ожил ее голос, зазвучал, как и прежде. Кутузов вернул Зыкину к себе в хор, стал поручать ей потом, после упорных тренировок, сольные запевы. И она, почувствовав себя в родной стихии, обрела крылья, успешно выступила во «внутреннем» конкурсе с тремя песнями: «Что во поле пыльно», «Во лесочке комарочков много уродилось», «Ах, долга ты, ночь».

Много и самозабвенно работала Людмила Георгиевна. Чтобы не докучать соседям, которые и рано утром и поздно вечером слышали через коммунальную стенку ее «арии», она уезжала куда-нибудь подальше, в лес, на реку, и пела там, вспоминала бабушку Васюту и свою добрую голосистую мать. Их уже не было в живых, ее любимых наставниц, но песни, посеянные ими в душе Людмилы, звучали и радовали людей.

Труд брал свое. Зыкина приучила себя все доводить до конца, делать только отлично или совсем не делать. Поэтому никто особенно и не удивился, когда она в шестидесятом году на конкурсе артистов эстрады получила вторую премию и право на сольные выступления в концертах.

Она пела в театрах, в клубах, по радио, по телевидению. Ее уже узнавали, приветствовали, шутливо повторяли только что пропетое ею:

— На побывку едет молодой моряк...

«На побывку едет» — это слова из стихотворения Виктора Бокова. С Боковым Людмила Георгиевна познакомилась на радио. Они подружились, потому что в их творчестве много общего. Людмила Георгиевна исполняет много песен на слова Бокова: «Оренбургский пуховый платок», «Коло, коло, колокольчик», «Лен», «Ой, снег, снежок»... Иногда они вместе выступают в концертах. Певицу и поэта тепло принимают зрители.

Круг композиторов и поэтов, с которыми работает Зыкина, с каждым годом расширяется: Пономаренко, Новиков, Пахмутова, Долуханян, Фрадкин, Левашов, Туликов, Аверкин...

Не каждая песня быстро обретает жизнь. Иной раз взмахнет она крыльями и тут же сядет. Не держат крылья: лишний груз мешает. А где он? В чем?

Вот и начинаются поиски вместе с композитором и поэтом. Подолгу иной раз ищут. Зыкина ни за что не выйдет на сцену с песней, если не поймет ее духа и образа.

Но и это еще не все. Песню должны «раскусить» также и те, кто будет аккомпанировать. Иначе не полетит она. Только при полном слиянии голоса и сопровождения достигается эффект, радующий слушателя. Так что после занятий с композитором и поэтом начинается еще более кропотливая, со спорами, работа с Шалаевым и Крыловым, опытными, умными баянистами.

И вот уж когда все готово, сто раз повторено и взвешено, несет Людмила Зыкина песню слушателям. На поездках, на самолетах, пешком, в вездеходах, на лодке добирается она к своим слушателям. Нет, кажется, у нас в стране уголка, где бы она не побывала! Магадан, Норильск, Дальний Восток, Тикси, Игарка, Диксон, Северный полюс, Кавказ... И сколько хороших друзей появляется после каждой поездки! Какое это великое счастье — видеть их глаза, полные благодарности за песню!

На Северном полюсе Людмила Георгиевна выступала в тесном, низком кубрике, и, когда запела «Ивушку», все эти бородастые, потемневшие от мороза полярники, не сговариваясь, подтянули ей. Так же случилось и в Париже, в цехе завода «Рено», где она исполняла популярную огневую «Калинку». Русская песня была близка французам, она их трогала, радовала.

На Дальнем Востоке рабочий рыбного промысла Саша Чернов подарил ей свою песню о камчатской земле. Людмила Георгиевна исполнила ее по телевидению. Гастрольные поездки нередко удачно пополняют ее репертуар.

И где бы ни находилась Людмила Георгиевна: дома ли, в дороге, на отдыхе,— она всегда работает над песней, шлифует ее, ищет новые ходы, неповторимые интонации, краски. Как-то в Индии, проникнувшись музыкальной стихией другого народа, она решила несколько изменить концовку песни «Восемнадцать лет», исполнить ее в замедленном темпе. И успех был прямо-таки громовой. Новый ритмический рисунок концовки подчеркнул лиризм, обогатил песню, наполнил ее свежестью. Так она звучит теперь и, возможно, через какое-то время пополнится еще и другими оттенками.

К полувековому юбилею Октября Людмила Георгиевна подготовила новую обширную программу «Тебе, женщина». В нее входит двадцать песен. Своим чарующим голосом актриса как бы пересказала весь путь, всю судьбу русской женщины. Перед зрителем появлялась то крестьянка, плачущая в горе, то революционерка, то боевая комсомолка двадцатых годов, труженица, боец, созидатель. Она включила в свою программу «Ариозо матери» из кантаты Анатолия Новикова «Нам нужен мир», которое до этого входило только в репертуар певиц академического плана.

В гладком черном платье, в черном платке вышла Зыкина к зрителям, и когда мощно зазвучал ее голос, все увидели образ скорбящей матери Родины, трагический и величественный одновременно, увидели колонны солдат, скромные обелиски по обочинам, уставшие глаза детей... Нам нужен мир... И мир будет...

Перед Новым годом мне захотелось еще раз встретиться с Людмилой Зыкиной, узнать о ее планах. Звоню раз, другой, третий — молчит телефон. И не удивительно: она же редко бывает дома. Шесть месяцев этого года провела только за границей, не считая гастролей по своей стране. Она, как солдат, легка на подъем. Люди ждут — надо ехать...

Наконец дозвонился, еду на Котельническую набережную, вхожу в квартиру. Сидит Людмила Георгиевна за столиком, разбирает ноты. Тексты песен и ноты всюду: на пианино, на шкафчике, на подоконнике. И еще книги, учебники. Зыкина учится. Учится постоянно. Нельзя актеру без учебы.

Замечаю в углу рядом с пишущей машинкой еще одну машинку — швейную. Перехватывая мой взгляд, Людмила Георгиевна говорит:

— Пишущая — это Володи, Владимира Петровича, мужа моего. Он у меня аспирант, иностранные языки знает. А швейная — моя. Люблю, знаете, шить. Вот недавно костюм себе сшила. Времени только не хватает...

Да, времени у нее для других дел маловато остается. Приедет с гастролей — люди идут. Она же депутат райсовета, а разных запросов у избирателей немало. Да и коллегам надо помочь. Ведь и ей когда-то помогали. Зазнаваться нельзя.

Какие планы на будущее? О, планов много! Вчера на радио была, будет записывать цикл старинных песен. Не дают эти песни ей покоя, бередят сердце. Ведь столько красоты и обаяния в народной песне! Спасибо матери и бабке Васюте. Им она многим обязана.

Вот праздник русской зимы приближается. Просят выступить. Для кино надо поработать. Композитор Новиков Анатолий Григорьевич принес песню о чекистах. Называется она «Незримого фронта солдаты».

Людмила Георгиевна берет лист и, поднимаясь со стула, говорит улыбаясь:

— Вот привычка — не могу петь сидя. Песня дисциплины требует, подтянутости...

Она подходит к пианино и начинает петь:

Эти люди военные носят форму так редко,
В орденах появляются лишь в особые дни.
Их работу нелегкую называют разведкой,
И не часто до старости доживают они...

Вот оно, рождение песни. Вот ее последняя инстанция. Выйдет Людмила Зыкина в один из вечеров на подмостки просторного зала, запоет, и отзовется песня в людских сердцах и пойдет гулять по просторам и эфирам земли...

ЖИТЕЛИ ЛЕСНОГО ДОМА

Если ехать из Пскова в сторону Ленинграда, то на восемьдесят пятом километре покажется одинокий домик, стоящий недалеко от дороги. Всюду, куда ни глянь, могучие сосны, березняки, и окруженное со всех сторон этой буйной зеленью крестьянское жилье само уж по себе привлекает чем-то, настраивает на лирический лад, а тут еще, вдобавок к лесной романтике, полно новеньких скворечников на шестах по заборам. Сначала, помню, их было десять. На другую весну — около двадцати. И каждый раз, когда я проезжал мимо этого лесного домика, всегда думал, что хорошие, должно быть, люди живут здесь, коль так полюбили их птицы. Хотелось остановиться, зайти, разузнать обо всем, посидеть на бревнах, сваленных у сарая. Но все как-то некогда было, всегда мы куда-то торопимся. И вот однажды в конце лета не выдержал я, задержался в этих местах.

Раздвигая широкие лопухи и метелки конского щавеля, иду по узкой тропинке. Тихо. Августовская дремотная теплынь недвижимо висит над лесами. Густо пахнет подсыхающей скошенной травой. Ровные валки этой травы тянутся вдоль плетней, обочин дороги. У палисадника свежий стожок сена, привязанный за веревку теленок. Ворота и дверь дома распахнуты настежь. Открыты на обе створки и все оконные рамы. Невзрачная собачонка, завидя меня, лениво тявкнула раза два и, как бы обидясь, затрусила к будке.

— Джек! Джека! На кого лаешь?

Из сеней вынырнул мальчишка лет десяти, босой, в старой солдатской пилотке, съехавшей на самое ухо. Разглядывая меня, он склонил голову набок и заулыбался, щуря свои небесно-голубые глаза.

— Здравствуй, мальчик!

— Здравствуйте!

— Ты чего смеешься?

— А так...

— Как тебя зовут?

— Вовка Кузнецов.

— Скворечники ты сделал?

— Половину я, половину отец, — скороговоркой ответил

мальчик и еще больше заулыбался, и вся его худенькая фигурка, ершистый русский вихор, лезущий из-под пилотки, исцарапанные ноги, клетчатая короткая рубашонка и эта милая, подкупающая доброта во взгляде говорили о такой неумемной душевной чистоте и щедрости, что я вначале несколько как бы растерялся, не знал, о чем говорить и что спрашивать.

— Да, много у вас скворечен...

— На ту весну сто будет.

— Неужели сто?

— А чего ж? — удивился Вовка моему вопросу. — Они у нас не только у дома, но и на огороде, и на березах за баней, и за двором. А в ельнике видели? О-о-о! Там семнадцать скворечников. Да на осине, которую молния подожгла, три. И у речки, где черемуха растет, тоже есть. Там я долбленку поставил. Знаете, как долбленки делаются?

То, как делаются долбленные птичьи домики, мы с Вовкой обсудить не успели, потому что в проеме ворот показался человек с граблями в руках.

— Это мой папа, — сказал Вовка. — Степан Кузьмич.

Но если бы он и не поторопился представить своего отца, я бы и сам без труда догадался, кто передо мной: настолько одинаковой голубизны были их глаза, так схожи покоряющие улыбки.

— Чего он вам тут наговаривает? — протягивая руку, проговорил Степан Кузьмич. — Ты бы лучше, парнища, не морил проезжего человека на жаре, а бежал бы к маме да нес бы нам кринку молока холодного, которое утрешнее, из погреба. Да малиной угостил бы товарища...

— Не надо, Степан Кузьмич.

— Как это не надо? Квас вчера только кончился, так не воду же в сам деле пить? А молоко у нас заместо пива. Нет пива в наших местах, не продают. Вон кругом глушь какая, сосняки да озера, до сельповской лавки далеко, но и туда не привозят...

Степан Кузьмич увел меня в палисадник, где под кустами сирени стояли скамейка и врытый в землю столик, снял кепку, тыльной ее стороной вытер вспотевший морщинистый лоб и стал неторопливо закуривать. Он сух, по-молодому подобран, весь как бы из одних сухожилий и мускулов, лицо и руки темны от загара: такой устойчивый, грубоватый загар появляется у людей, подолгу бывающих на морозе и солнце. И нелегко из-за этого трудового загара определить, сколько ему лет. Поддавшись обаянию светлых молодых его глаз, я дал ему не больше пятидесяти, на что Степан Кузьмич, смешливо покрутив головой, заметил:

— Маленькая собачка — до старости щенков. Пятьдесят-то

годков, ежели с мальчишества считать, я только в лесниках состою. Так что промашку дали лет на пятнадцать. Мне бы уж на пенсию надо, а лес кому передать? Кто сюда поедет?

Вовка принес глиняную корчагу молока и малину в аккуратной плетеной корзиночке. Пузатые бока корчаги сразу же покрылись матовой холодной слезой, засветились потеки на обливной глазури. Я с удовольствием выпил целую кружку и попробовал малины, не огородной, как объяснил Вовка, а лесной, собранной на порубях, открытых солнцу, и потому мелкой, но сахарно-сладкой. Разговорившись, Степан Кузьмич по привычке и простоте своей перешел на «ты», сказал, что народ к ним заходит частенько, потому как изба при большой дороге: то охотники заблудятся и заглянут на манящий огонек, то шофер, устав от копания в испорченном моторе, попросится ночевать, или просто так вот, из любопытства, на скворцов посмотреть идет сюда разный люд.

— А скворушек приваживать — это вот его затея, из-за него, понимаешь, все и пошло, — говорит Степан Кузьмич и обнимает сына за плечи... — Последыш он у нас, помощник мой.

* * *

Я частенько стал заезжать к лесному домику и хорошо уже знал не только Вовку и Кузьмича, но и жену его, приветливую Авдотью Михайловну. И Джек больше не лаял на меня, а, встречая, приветливо повиливал хвостом.

Раньше на этом месте гнали смолу, и хутор из трех дворов именовался поэтому Смольняки. В войну карательный эсэсовский отряд дотла спалил хутор, и по краям пепелищ каждое лето грустно алели цветы иван-чая, и только по этим цветам можно было догадаться, что тут было селение. А потом, когда Степан Кузьмич воскресил Смольняки, поставив здесь дом, прежнее название как-то не прижилось, и все называли хуторок по-своему:

— А это то место, где сердитый старик, мальчик и много скворечен...

Сердитым Кузьмича стали считать с тех пор, когда он как-то в мае, в самую пору цветения черемух, отругал пьяных туристов, оравших на весь лес разухабистые песни. Их было человек десять, здоровенных парней, и у каждого, как показалось Кузьмичу, на боку болтался включенный транзистор, а у одного еще и гитара, по которой он бил наотмашь всеми пальцами, и все они кричали, кривлялись, приплясывали, не замечая юного весеннего леса, набравшего уже полную листву, не слыша его

ароматов и музыки. Они перли, как толпа дикарей, ломая на ходу сучья, и Кузьмич, видя, что туристы на его предупреждение не обращают никакого внимания, ахнул из двустволки дуплетом у них над головами, и когда парни, ошарашенные выстрелами, наконец остановились, подошел к ним вплотную и закричал, сжимая кулаки:

— Вы люди или не люди? А? Акт составлю! Оштрафую! За хулиганство в святом месте! Как фамилия?! Ну?!

А вообще-то Кузьмич — человек добрый, спокойный, в душе поэт и «расходится» только в тех случаях, когда видит, что лесу его любимому наносится какой-то урон. С лесом у него ведь вся жизнь связана. Он тут родился и вырос. Отец и мать Кузьмича ни капельки не удивились, когда он, молоденький еще парнишка, попросился отпустить его на кордон на стариковскую должность — в сторожа. Кузьма Иванович Кузнецов — сам бывалый лесовик — оценил порыв сына: умирать легче, когда дело твое родной человек подхватывает.

А леса здесь чистые, привольные, по-настоящему русские. Стоят они по увалам, пересекаются речками, глухими оврагами, где даже в полдень сумрачно и прохладно, где рядом с кленом тянется к небу нежная рябинка, а вокруг елового пня кустится колючий можжевельник, выглядывают стеклянно-кровяные глазки костяники. И название у леса красивое — Валдай. Это не тот Валдай, что где-то за озером Ильмень, а свой, местный, ни в чем не уступающий тому, большому, настоящему Валдаю.

В сторожах Степан Кузьмич побыл недолго. Охранял он штабеля дров, сложенных на просеке возле узкоколейки, и ночами слушал, как живет лес. Из густого и яркого Млечного Пути падали звезды, шуршала в диком малиннике лисица, ухал где-то филин, летучая мышь шелестяще носилась вокруг белой его рубахи. Ему хотелось оставить эти аккуратно уложенные поленицы осиновых дров, источающих винный запах, и уйти в чащу, пробираться по тропе к Полужневской засеке, как это делал дядя Федя Сабурников. Дядя Федя иногда заходил к сторожу, протягивал кисет, как взрослому, разговаривал о жизни, о Валдае, о разных случаях. А когда Степана определили в лесники, впервые назвал его Кузьмичом, ставя этим как бы знак равенства между собой и молодым Степаном.

Работал Степан Кузьмич старательно. Участок его был немалый: пять километров в одну сторону и девять — в другую. А если кольцо делать, то с обходами разными чуть ли не полсотни километров наберется. И ходил Кузьмич по Валдаю ежедневно, особенно рано утром и поздно вечером, забираясь в те места, где, всего вероятнее, мог оказаться нарушитель. В его задачу входило охранять не только лес, но и все живое в нем, всех

зверей и птиц, рыб в озерах и реках. Не хватало тогда егжей, да и сам бы он не прошел мимо, если бы, к примеру, в озере на его территории запрещенными сетями ловили рыбу. В высоких сапогах, в ватнике, с ружьем и брезентовым ранцем за плечами, неслышно пробирался он опушками, огибал ольховые заросли, делал метки на умирающих деревьях, приглядывался к мелколесью, примечал следы.

В первые же годы самостоятельной работы Кузьмич узнал, насколько ответственна и опасна должность лесника. Как-то на рассвете, поднимаясь на горку, услышал он торопливые шарканья пилы. Заря уже встала, но было еще темновато, и, раздвинув ветки крушины, Кузьмич с трудом разглядел поваленные ели, уже без сучьев, и подводы, укрытые за осинником. Два мужика подпиливали стройную свечкообразную сосну, а третий, высокий, с бородой, носил свежие бревна к подводам. Кузьмич выскочил из-за кустов, побежал к лошадям, но в это время сбоку его что-то сильно толкнуло. Он упал, оглушенный, обожженный пламенем близкого выстрела, а когда очнулся, тарыхтение колес уже было далеко. Зарядом дрови ему поранило щеку, вырвало бок у фуфайки. Весь в крови, прихрамывая на правую ногу, побежал он к большаку и догнал порубщиков в льяном сарае, где они прятали ворованный лес. Бородатый замахнулся на Степана топором, но тут же осекся: лесник держал наизготовку двустволку...

Был суд, и нарушителям попало крепко. А лесник после этого стал нередко слышать угрозы из-за реки:

— Эй, Стя-я-япа-ан! Круто берешь, парень! Гляди, да оглядывайся!! Не спотыкнись, ямок-то в лесу много!

* * *

Кроме ближних деревень да Струг Красных, районного центра, нигде Кузьмич не отлучался. Некогда было да и охоты особой не испытывал, свои тихие Смольняки любил беззаветно. И только когда война началась, решил всеми путями добиться посылки на фронт: из-за болезни сердца в армию его не брали.

Раза три ждал он своей очереди в военкомате и получал отказ. А в четвертый раз не успел с хлопотами: немцы уже в июле заняли Псков, перерезали дороги к Ленинграду и Новгороду. «Тут воевать будем»,— решил Кузьмич и пошел к партизанам. Но в отряде оружия ему не дали.

— Ты, Степан Кузьмич, лесник,— сказал командир,— дом твой на самой автостраде стоит, и приказ тебе такой будет: живи тихо, выполняй все немецкие приказы, будь незаметным и наблюдай за дорогой...

Задание это оказалось не таким уж простым. Недели через две к хутору Смольняки подкатили два бронетранспортера и замерли в некотором отдалении. Кузьмич увидел из окна, как угрожающе поворачиваются короткие черные стволы пулеметов, и, догадавшись, в чем дело, крикнул:

— Ложись!

Жена его Марья и два сына, большие уже хлопцы, прижались к полу и замерли. А через секунду длинные очереди хлестнули по стенам, звякнули стекла, посыпалась пыль с потолка. Потом все стихло, было слышно, как машины подъехали ближе, и раздались немецкие голоса.

— Выходить, видно, просят,— догадался Кузьмич.— Вы пока лежите, а я узнаю... Мало ли что... Лежите пока...

Втянув голову в плечи и сгорбившись, он вышел на улицу и огляделся. По дороге в сторону Ленинграда двигалась танковая колонна. Из крайнего дома, где жили Смирновы, немцы волокли поросенка. Поросенок визжал, брыкал ногами, и солдаты смеялись, улюлюкали. Они забросили поросенка в открытый люк и, вытирая травой руки, подошли к Степану Кузьмичу.

— Ты кто есть? Партизан?

— Я лесник... Я лес охраняю,— ответил Кузьмич и для убедительности показал рукой, похлопал себя по бедрам: вот, мол, смотрите, ничего у меня нет, мирный я человек.

— Пять минут и ...вэк, пошел! — приказал немец.— Дома сжигайт!

Через двор, сеновалом, по картофельной борозде выбралась семья Кузьмича к лесу.

— Бегите прямо на выселки к Федору! — сказал Кузьмич Марье и сыновьям.— Я ночью приду. Быстрее!

— Ой, батюшки, пропадем, сгинем! — запричитала Марья.— Говорила я тебе, что загодя уйти отсюда надо вместе со Смирновыми и Тихоном, а ты свое заладил! Последнее пальтишко... Машинка швейная.. Все сторит! Ой, батюшки!

— Ну, хватит! — прикрикнул Кузьмич.— Бегите!

Когда Марья с ребятами скрылась в зарослях, Степан Кузьмич выполз на опушку и стал наблюдать с пригорка. По шоссе все еще двигалась колонна. Он насчитал двенадцать танков и двадцать шесть тупорылых, как бы без кабины, грузовиков. Солдаты в касках плотно сидели в кузове каждой машины, а три грузовика были укрыты пятнистым брезентом.

Хутор немцы почему-то не подожгли. Сгорел он позже, когда каратели прочесывали леса под Лудонями. Ночью Кузьмич успел перетаскать в укромное место кое-что из домашнего скарба. Принес он и швейную машинку. И корову, которая паслась на луговине, ухитрился увести на выселки.

С той ночи жизнь его круто изменилась. Он бродил по деревням, толкался возле дорог, у станции, а спал в землянке за Лисьим оврагом, которую сам наспех вырыл и сложил там печь. У него была официальная бумага с орлом и свастикой, удостоверяющая, что он охраняет лес германской империи и отвечает за его заготовку и отгрузку. Бумага была подлинная, и он ее охотно показывал на пикетах пожилым немцам, несущим карательную службу. С этими немцами он старался «найти общий язык», бережно свернув бумагу, снимал ранец, где у него всегда водилась самогоночка. Отвинтив колпачок фляжки, выплескивал немного жидкости на стол и подносил спичку. Самогонка вспыхивала синим огнем, немцы дружно орали «О-о-о!», нюхали фляжку, а Кузьмич, не теряя времени, острым охотничьим ножом строгал ломтиками сало, резал луковицу, хлеб и приглашал широким жестом:

— Пожалте, господа солдаты, русской водочки! Не водочка, а настоящий шнапс, слеза, можно сказать, божья росинка!

Иногда немцы прогоняли настырного лесника, а чаще всего пили самогонку и ели сало. И потом, когда Кузьмич появлялся на переезде в позднее время и шел вдоль военных машин и эшелонов, солдаты не трогали его, угощали даже сигаретами, хлопали по плечу. Кузьмич улыбался, говорил «данке» и «гут», опять расстегивал ранец, а спустя час уже сидел у верного человека и по памяти выкладывал виденное за день.

В выселках у своих бывал он редко. Работы разной хватало да и побаивался лишний раз маячить там, потому что в соседней деревне жил староста, провокатор и немецкий прислужник, который хорошо знал Кузьмича и догадывался о его партизанских связях.

Марье с ребятами приходилось туго. Да и болела она часто, кашляла от простуды, днями лежала на полатах. Кузьмич доставал меду, заваривал травы в крутом кипятке, но ничего не помогало. К докторам бы надо Марью везти, да где теперь докторов сыщешь, когда всюду немцы, больницы сожжены, кругом пепел и головешки.

Умерла Марья, незаметно и тихо угасла, не приходя в сознание после высокой температуры. Кузьмич запомнил при последней встрече ее восковое, исхудавшее в болезни, но все еще красивое лицо, просящий взгляд и слезу на щеке. Она тогда уже не могла говорить, но еще все понимала, и в крупных ее горящих глазах Степан Кузьмич прочитал одно: я уже не встану, а ты береги детей...

А в последние минуты он возле нее не был и жалел об этом, плакал, разбивая пешней мерзлую землю для могилы...

Совсем немного не дожила Марья до освобождения. После

прорыва ленинградской блокады немцы, разбитые на всех участках, откатывались к Пскову, и вскоре на родину Кузьмича пришли наши войска. В честь такого события он откопал спрятанную двустволку и выстрелил несколько раз, салютуя свободе.

Стихла фронтовая канонада на псковской земле, но война еще не кончилась, она гремела где-то за Ригой, под Либавой, у польских городов. Степан Кузьмич, еще раз попытав счастья в военкомате и услышав категорическое «нет», приступил к своим обязанностям лесника. Обходя знакомые просеки, он не заметил, как ноги сами привели его к родному хутору Смольняки, вернее, к тому месту, где стоял когда-то хутор. Была середина июля, и все утопало в зелени, высокая трава покачивалась на ветерке. Из всех деревьев, растущих до войны у дома, уцелела одна лишь березка. Она была избита пулями, и в тех местах, где входили пули, застыли красные потеки, словно это были раны человека. Кузьмич знал, что весной березка истекала соком, сок высох и покраснел, но ему так и казалось, что это человеческие раны. Он вспомнил Марью, ее просящие глаза и обнял березку, застал от нахлынувшей вдруг душевной боли...

Долго осматривал Кузьмич пепелище, ковырял палкой землю и среди щебня и кирпичей нашел заслонку от печи и обгоревшую кружку без ручки. Эта кружка несколько рассеяла его, обрадовала. Это была его любимая кружка, он всегда пил из нее чай, сидя на своем месте у окна, выходящего на дорогу. Марья, бывало, уж знала, что из другой посуды он пить не будет, и наливала ему только в эту эмалированную с просинью на доннышке кружку. Теперь эмаль отлетела, и просини не видать внутри, но кружка была еще крепкой, хотя и без ручки. Кузьмич обмахнул ее лопухом и, перекладывая из ладони в ладонь, приговаривал, поглядывая на заходящее солнце, туда, где еще катилась война:

— Нет, гады, шалишь! Оживем и жить будем! Будем жить!

Он убрал кружку, вздохнул, выпрямился и быстро, уверенно пошел к лесу. Он твердо решил строить дом. На пепелище, на развалинах. Точно такой же дом, какой был у него до войны. С сараем и погребом. С сеновалом. И с окном на большую дорогу.

* * *

Трудно давался новый дом Кузьмичу. И бревна, и жерди, и мох для пазов — все это он носил на своих плечах: лошадей при лесничестве пока не было. И в колхозе попросить неудобно, потому что бабы в деревнях плуги на себе таскали. Помогали, правда, ему сыновья, но жалел их Кузьмич: уж очень они

истощали и умаялись за годы оккупации. И без матери было им плохо. Получит Кузьмич крупу по карточкам, и двухнедельной нормы хватает ему почему-то всего на три-четыре каши. А Марья сумела бы растянуть, что-то такое бы состряпала для обмана желудка. Парням уж в армию скоро, а они на пацанов похожи, ребра и через рубашку пересчитаешь. Летом еще лес выручал, речка: то маслят корзину притащат, то земляники наберут, щурят да окуней наловят. Зимой же совсем голодно. Картошки, и той не хватает.

А тут еще семья у Кузьмича неожиданно увеличилась. Поехал он в Лугу за стеклом для новой избы и увидел, ожидая попутную машину, мальчишку у забора. Заросший, с голыми коленками, в какой-то женской засаленной кофтенке, сидел мальчишка, скрючившись, на земле и жадно, глотая слюну, смотрел, как здоровый мужик с хрустом грызет крыло курицы. Перехватив взгляд мальчика, мужик, видимо, все понял и нахмурился, отвернулся, стал грызть потише, запивая курицу молоком из бидончика. Кузьмич видел эту сцену и пожалел, что у него в кармане всего-навсего одна картофелина и щепоть соли в бумажке. Он подсел к мальчишке, разломил картофелину, посыпал солью и, протягивая одну половинку парню, сказал:

— Давай-ка, герой, закусим перед дорогой чем бог снабдил. В Псков, поди, едешь?

— Никуда я не еду,— опустил мальчишка глаза и, взяв картофелину, мигом, почти не разжевывая, проглотил ее.

— Это как же не едешь? А пошто тогда у автобусной остановки сидишь?

— Так просто... Может, знакомых встречу...

— А дом у тебя где? Отец, мать есть?

— Нет никого... В сорок втором их фашист пострелял. В болото всех наших деревенских загнали и постреляли... Может, слышали? Под Гатчиной это болото...

— Под Гатчиной, говоришь? Может, и слышал... Болот там много. А где же ты обитал все это время? Зовут-то тебя как?

— Ваня...

— Так где же ты, Ваня, жил?

— У тетки в Сельце жил... А она умерла...

Разговор с Ваней Кузьмич уже продолжил в помятом «студбеккере», куда их посадили артиллеристы. Кузьмич привез мальчишку домой, усыновил его. И Ваня быстро прижился, сдружился с Костей и Сашей. Они вместе ходили в лес, доделывали кое-что в доме. А дом у Кузьмича получился просторный, по фасаду пошире довоенного, еловые свежие бревна как бы звенели от мальчишеских голосов, запах смолы стоял во всех ком-

натах. Вот только крыши настоящей пока не было, осока с соломой, прижатые жердями, пропускали воду во время сильных дождей, топорщились на ветру.

— Пилораму наладят, тесом перекрою,— говорил Кузьмич, покуривая самосад после работы.— Или, может, дранки достанем, толя, тогда полечче будет крыша...

Ребята садились с ним рядом, затахали. Кузьмич любил эти минуты. Куда-то улетала усталость, на душе было покойно. Он всегда верил в добро, в труд, работал много, всегда был готов помочь человеку, и эти его качества неотразимо действовали на ребят.

Возвращаясь как-то с обхода, встретил Кузьмич женщину на дороге. Она несла вязанку хвороста и показалась леснику знакомой.

— Ты, что ли, Авдотья? Счастливой тебе быть, не признал сразу-то...

Авдотья сбросила с плеча вязанку и села на нее, сказала, поправляя платок:

— Счастье не про меня, видно... Видишь, какое оно, счастье...

Кузьмич знал, что Авдотья из Букина, что она вдова, догадывался о ее трудной доле, но то, что увидел в ее избе, принес хворост, поразило его, сжало сердце. Холодно, пусто, с потолка и стен лохмотьями свисают закопченные обои, щели подоконников заткнуты тряпьем, а с печки смотрят пять детских, одинаково белокурых голов. Дети уставились на Степана Кузьмича и молчали, и в их испуганно-ожидających глазах была та же голодная мольба, что и в глазах Вани, когда он его впервые увидел там, возле Луги.

— Мы в кормокухне на ферме жили последнюю-то зиму, а тут немцы стояли, пушка у них на огороде спрятана была,— говорила Авдотья, как бы оправдываясь.— Нас и близко не подпускали, пол, вишь, прожгли, стенку в чуланчике прошибли...

— Там у них, мама, подозрная труба выставлялась,— сказал самый старший из детей, и все они тут же соскочили с печки. На старшем, мальчике лет десяти, болтались красноармейские широкие галифе, а остальные, три девчонки и один мальчик, были совершенно голыми.

— А ну, марш на печь! — прикрикнула Авдотья и шлепнула одну из девчонок, видимо, самую озорную.

— Сейчас огонь разведу, похлебку варить будем...

— Мама, а Колька пулю спрятал,— скороговоркой доложила девочка, которую шлепнули.

— Какую еще пулю, о господи, царица небесная!

— Железную, с желтым носиком...

— Дай сюда! — потребовала Авдотья, подступая к сыну. — Этого еще не хватало на мою головушку! Пальцы-то враз отхватит!

Колька порылся в лохмотьях и протянул матери крупный блестящий патрон с двумя ободками на острой пуле.

— Этот и стрельнуть может, — сказал Кузьмич и взял патрон из рук Авдотьи. — С ним шутки плохи. Это, должно быть, от крупнокалиберного пулемета или от самолетной пушки. Бронбойно-зажигательный...

В Букино, к Авдотье и ее ребятишкам, Степан Кузьмич стал захаживать частенько. То дров наколет, то ворота поправит, доску приколотит. И всегда что-нибудь да приносил детям. Они уже успели полюбить его, шумно встречали еще на улице, забирались на колени. Видя эти сцены, Авдотья с трудом сдерживала слезы, улыбалась дрожащими губами, покрикивала на детей:

— Дайте отдохнуть дяде, ну что вы его облепили, как мухи!

Авдотью покоряла душевность лесника. Он не был похож на некоторых мужиков, которые если и помогали одинокой женщине, то обязательно с тайным умыслом, с намеком. И водкой от Степана Кузьмича никогда не пахло, хотя при такой должности, как у него, да еще в такое время, когда лес всем нужен, мудро не клонуть на приманку. Авдотья была еще молода и хороша собой и видела, всем своим женским существом чувствовала, что тянется к ней Степан Кузьмич. А может, она ошибается? Может, лесник по доброте своей просто ребятишек ее жалеет? Все эти мысли, связанные со Степаном Кузьмичом, она пыталась отгонять от себя и чем старательнее отгоняла, тем больше думала о леснике, ждала его вечерами, посматривала на опушку темного ельника, откуда он обычно появлялся. Она знала, что когда-то лесник заговорит с ней не только о погоде и нуждах, и ждала этого разговора, волновалась, верила и не верила. Но больше все-таки верила.

В одно из воскресений Степан Кузьмич пришел не в конце дня, а загодя, к обеду. Рановато что-то в этом году дохнуло осенью, в половине сентября березки стояли уже обнаженные, журавли до срока улетели в теплые страны, и хотел он поскорее доделать защиту у северной стены Авдотьиной хибары.

Работали все вместе, весело, со смехом. А к вечеру, когда дети уснули, Авдотья и Степан Кузьмич вышли на улицу, сели на приступке. Лесник долго закуривал, и руки его, освещенные луной, слегка подрагивали, крупные крошки самосада падали ему на колени.

— Не поможет тебе, Авдотья, эта защита, — сказал Степан Кузьмич, закашлявшись. — Стена-то трухлявая, нижние два венца совсем сели...

— Этот дом еще дед Архип строил, отец мужа моего покойного,— тихо отозвалась Авдотья.

— Оно и видно, что при царе Горохе ставили. Не прозимуешь ты тут, ребятню погубишь...

— Не привыкать. Когда на ферме от немца прятались, и не то было. Выдержим. Картошка вот только в подполье померзнет. А так ничего. Татьяна Тихоновна, бригадирша наша, соломы мне обещала, набросаю ее в подпол...

— Не согреет твоя солома. Ты вот что, Авдотья... Еще летом хотел я тебе сказать... Ко мне переходи... Дом у меня новый... Я ведь не так просто.. А насовсем, значит... Все честь по чести. В сельсовет сходим... Еще летом хотел тебе это сказать..

Выговорив весь этот запас слов, который он долго носил в себе, Степан Кузьмич облегченно затанулся самокруткой и устал откинулся на спину.

— У тебя же своих... трое,— раздумчиво приговаривала Авдотья.— Эх, Степа... Какой ты человек...

Она всхлипнула, закрыла лицо ладонями. Она еще не называла его так ласково, по имени, и Кузьмич, чуткий ко всему сердечному, прижал ее голову к своей груди и не мешал ей выплакаться...

А утром, сняв с печи тюфяк и вытряхнув из него солому, Степан Кузьмич сложил туда все вдовьи пожитки, привязал за поводок козу Маньку, и пошли они друг за другом, всей семьей по еловой просеке.



Прошло несколько лет. Жизнь на псковской земле стала заметно улучшаться. Заасфальтировали выбоины на большаке перед хутором, забелели в селах шиферные крыши, шагнули через леса и низины мощные опоры высоковольтной линии, потоком катили в обе стороны мимо Смольняков новенькие автомобили.

И в лесном домике многое изменилось. Ушли в армию и остались затем в городах старшие сыновья Кузьмича. Выросли и разлетелись, словно птицы, и остальные дети. На хуторе работы нет, в лесничество немного требуется народу, вот и поехали они на разные стройки по комсомольскому набору. Все дети Кузьмича увезли с собой с хутора доброту в сердце, дружелюбие, красоту души, навеянные очарованием русской природы, данные им незаметным, но верным воспитанием отца.

На хутор часто приходили письма из воинских частей, из комсомольских и партийных комитетов — благодарили Кузьмича и Авдотью за настоящее воспитание детей. Степан Кузьмич любил читать эти письма вслух. Очков он еще не носил, но стра-

дал профессиональной для лесников дальнорукостью и когда читал письмо, то отводил листок подальше от глаз. Авдотья слушала и улыбалась, а Кузьмич через каждую строку комментировал:

— Танюшке надо белых грибов послать, а Анюте и Косте малины сушеной... Они, бывало, простужались... Пусть с чаем пьют...

По лесной своей службе Степан Кузьмич по-прежнему считался передовым, и каждый почти год на стенке перед фикусом появлялась новая, выданная ему грамота.

Жил он со своей Авдотьей дружно. Ни разу голоса на нее не повысил, и она хорошела с годами, как бы вознаграждая его этим за такую любовь.

Одно ее только беспокоило: замкнулся немножко Кузьмич после того, как разъехались все их дети. Ему всегда надо было о ком-то заботиться, кому-то помогать, привык он к этому, жизни себе другой не мыслил. И стала неверующая Авдотья мысленно молить бога, чтобы ребеночка ей послал, пока еще не ушли годы. Бог тут, конечно, ни при чем, докторша одна городская помогла разуверившейся Авдотье, но когда это случилось, когда она убедилась, что ребенок у нее будет, Авдотья и в самом деле чуть было не поверила в существование всевышнего...

Больше ее, узнав об этом, обрадовался Степан Кузьмич. Забыл снять ранец и рукавицы, он сел к столу и заговорил, как пьяный:

— Ты вот что, Авдотья... Ты не того... Ты за водой не того... не ходи теперь... И дрова из сеней не таскай... Они хоть и сухие, но кругляши березовые, тяжелые они, для углей их не колот мелко... Для углей самоварных...

Родился у них мальчик. Родился как раз в апреле, когда ленинские дни отмечали. Знакомая докторша, которая когда-то Авдотью лечила, поздравляя Кузьмича, предложила:

— Вот вам и имя придумывать не надо. Всех мальчиков в эти дни Владимиром называют. И вы так назовите. Очень солидно звучит: Владимир Степанович...

По случаю рождения сына попросил Кузьмич дополнительный отпуск и не отходил от Авдотьи, предугадывал все ее желания.

Вовка рос крепким мальчишкой, спокойным. Думалось, что никакие хворобы к нему никогда не пристанут. Но в четыре года, удар от матери за сарай, наглотался он сосулек, подхватил грипп, а после гриппа началось осложнение. Горячий метался по постели и все просил, чтобы впустили в комнату скворца. Перед окнами дома висели два скворечника, и как-то молодой скворуш-

ка, учившийся летать, попал на кухню. Вот Вова и запомнил, видно, этого летуна и сейчас, сгорая от жара, хотел его видеть.

— Они скоро прилетят, сынок, недельки две осталось всего,— гладил Кузьмич мальчика по головке.— И тот прилетит... Они всегда свое гнездышко находят... И скворцы, и ласточки, и грачи...

— Впусти его, принеси,— бредил Вова.

Кузьмич не находил себе места. Проводив как-то медсестру, которая сделала Вове укол, махнул он в Ленинград, «проголосовав» попутной «Волге». Ходил по Невскому, выспрашивал прохожих, где птицами торгуют и не держат ли кто дома скворцов. Некоторые не обращали на него никакого внимания, кое-кто, видно, принимал за пьяного. Но вот один морячок, выслушав Кузьмича, нахмурился:

— Сын, говоришь, болеет? Четыре года? Скворца просит? Это мы сейчас, старик, попробуем. Есть две копейки?

— Только и всего?

— Да нет, не понял ты. Не скворец стоит две копейки. Две копейки надо, чтобы по автомату позвонить, понимаешь? Есть тут у меня одна Нюрочка знакомая, вернее, Анна Петровна, в школе работает. Так вот она говорила, что у них еж есть.

— Не надо мне, сынок, ежа...

— Где еж есть, там, глядишь, и скворец сыщется. Две копейки надо...

Кузьмич порылся в карманах и протянул морячку горсть мелочи.

— О, да у тебя тут всяких по паре! Пошли!

Несколько минут морячок говорил с кем-то по телефону, потом сообщил:

— Такси будем ловить. У Анны Петровны попугай есть, со-рока, реполов, а скворца нет. Скворец есть в другой школе. Один пацан держит. К нему и катанем. Но сначала за Нюрой за-скачим...

Не прошло и часа, как Степан Кузьмич держал клетку со скворцом, растроганно жал руку ученику пятого класса Славику, который этого скворца ему подарил, смешливой, симпатичной Анне Петровне и морячку.

— Да как же так? — говорил он морячку, когда они вышли от Славика.— Пойдем хоть красного по сто граммов, раз белого нельзя. Услужил ты мне, парень, даже сам не знаешь, как услужил..

— Не могу, увольнительная кончается...

— Откуда ты хоть родом-то?

— Из Сибири, из Красноярского края.

В тот же день, поздно вечером, Степан Кузьмич был уже до-

ма. После укола Вове стало получше, а когда он увидел скворца, заулыбался, протянул руки, на щеках у него выступил румянец...

С той поры скворцы — самые любимые Вовины птицы. Да и Степан Кузьмич скворца почитает. Весну он приносит и лес врачует. И вообще красив, деловит и опрятен скворец.

* * *

Зимой на хуторе скучно. Кругом сугробы, река подо льдом, ветер свистит в радиоантенне. Вовка приходит из школы, катается на лыжах, учит уроки, идет встречать отца на лосиную тропу.

Зато летом ему полное раздолье. В середине июля, когда поспевает разная ягода, съезжается погостить на хутор вся их многочисленная семья. Дом в эти дни ходуном ходит, и Вовка, «любимый последыш», виснет у всех на шее, обедается городскими гостинцами. Ему хочется, чтобы братья и сестры подольше жили на хуторе, но отпуск короткий, и вот он с отцом и матерью провожает уже последнего гостя, долго смотрит вслед уходящему автобусу...

А после отъезда родных как-то быстро наступает осень. В семь часов уже начинает темнеть, дуют с Прибалтики резкие ветры, часто моросит дождь. С юга, с брезентовыми тюками на крышах машин, возвращаются загоровшие автовладельцы. До самого обеда лежат в низинах холодные туманы. Березы швыряют на асфальт пригоршни золота. Вереск голубеет на порубях. И всегда по одному маршруту тянутся цепочками гуси...

Все времена года нравятся Вовке, но больше всего весна. Уже в марте, при первой капели, он строгаёт и пилит доски, сколачивает скворечни. Кузьмич только присматривает за сыном, подсказывает, точит пилу и рубанок. В сарае, где они столярничают, пахнет свежей стружкой, и Джек катается по этой стружке, тычется влажным носом в Вовкины руки, взвизгивает от нетерпения, предчувствуя скорую прогулку в лес. В лесу надо нарубить длинных шестов для скворечен, но Кузьмич, попав в родную стихию, плутает по соснякам до самого вечера, смотрит, подобрали ли лоси сено, оставленное прошлый раз в осиннике, трогает шершавой ладонью пни на опушках. Вовка видит, как отец преобразается в лесу, легко дышит, щурит свои умные глаза, заметив зайчишку, не спешит вскинуть двустволку, а хлопает голицами, удерживает Джека и кричит:

— А ну, косой! Вот догоню!

Зайчишка, проскочивший мимо, уже скрылся в чащобе, а он все глядит на петлястый след и, обращаясь к сыну, рассуждает:

— Мало зверья стало у нас, мало. Сколько я фармазонов-разбойников выловил, сколько актов составил, а они не убывают. Если бы я был большим начальником, я бы запретил кому попасть продавать ружья. Пусть общее собрание решает, можно ли вот хоть Коське Додонову доверить ружье или нет. А ты как думаешь?

— Конечно! — неопределенно отвечает Вовка. — Я бы тоже это самое...

На второй день они ставят на шестах и приколачивают к деревьям птичьи домики. И вот уже появляются черные пернатые певцы. Сначала они занимают старые квартиры, затем новые, и в сто раз, наверное, увеличивается число жителей лесного хутора. Было всего четверо: Кузьмич, Вовкина мама, сам он и Джек. А теперь столько крылатых гостей, с утра до ночи снующих над поляной и лесом, свистящих, распевающих на все лады!

При виде первой же птичьей семьи Вовка раньше времени убегает в Николаево, в школу, которая находится в двух километрах от хутора, и сообщает, переводя дух:

— Анастасия Павловна, скворцы прилетели!

Вовка учится в третьем классе. Вообще-то ему надо бы уже быть в четвертом, но как-то зимой сбил его лихач-шофер, и долго пришлось отлежать в больнице, потерять из-за этого год. Отметки у Вовки ровные — четверки и пятерки. Он много читает, особенно вслух своим родителям, и мама его, когда речь идет о войне, подпирает впавшие щеки и тихо плачет, вспоминая прошлое...

По его примеру везде теперь висят скворечники: и на школьном участке и у ребят дома. Мальчишки собирают сосновые шишки, прочесывают лес, докладывая о всех нарушениях Кузьмичу. Часто вместе с ребятами ходит и Анастасия Павловна Кремнева, сельская учительница. Во время таких походов вся инициатива переходит к Вовке. Он ведет отряд к речке Лудоньке, где склоняются над тихими заливами белые черемухи, показывает лисьи норы, следы быстрого енота, а когда из зарослей выскакивает какой-нибудь зверек, так же, как и отец, хлопает в ладоши и кричит:

— А ну спасайся! Вот догоню!

Лес, где гуляют ребята и который уже полвека охраняет Кузьмич, Вовка знает, как своего Джека. Он знает здесь каждый овражек, каждую просеку. Ребята идут молодыми березняками, мимо высоких угрюмых елей, мимо нежных рябинок, выводком разбежавшихся по отлогому склону, по лугам и долинам.

В траве гудят пчелы, пахнет диким клевером, и неугомонные чибисы выются над головой и спрашивают навязчиво:

— Чьи вы? Чьи вы?

Прошлой весной на хуторе Смольняки особенно буйно цвела сирень. И картошку посадили на неделю раньше. Кузьмич при встрече сказал мне с радостью:

— Год хлебный будет, все к этому клонит...

Он купил Вовке техасские брюки с карманом; убираются в этот карман коробка с червями, моток лески, ножик, три блесны и кусок хлеба. Надел Вовка брюки и пошел в школу, чтобы показать Генке, Борьке, Валерке и Нинке. Идет он по дороге и брюками любит. А навстречу, на юг, катят навьюченные «Москвичи», «Волги», автобусы. Лето наступает. Много интересных дел ждет Вовку и его друзей впереди. И лес охранять надо и речку и семена собирать. Отец говорит, что малины будет много, грибов, орехов. И окунь на Лудоньке с ходу хватает, и до щучьего жора недалеко...

В классе все были какие-то хмурые. Странно: через два дня качикулы, а они хмурые. Вовка толкает локтем Валерку и шепчет:

— Из роно, что ли, кто приехал? Проверка, что ли?

— У Анастасии Павловны кто-то из сродников умер,— сообщает Валерка.

И только теперь Вовка замечает: у учительницы изменившийся голос, покрасневшие глаза и усталая походка.

А после уроков, когда все разбежались по домам, он увидел, как Анастасия Павловна, опустив плечи, сидит на скамейке, поджидая автобус на Новоселье. Вовка знал, что автобус появится минут через сорок, и быстро побежал в рощу, где растут ландыши. Он сделал большой букет, добавил к нему голубых колокольчиков, перевязал леской и, подойдя к скамейке, протянул цветы учительнице.

— Ах, Вова! — как бы после забытья встрепенулась Анастасия Павловна.— Спасибо тебе, милый...

Она хотела еще что-то сказать, но Вовка уже пошел по дороге, поигрывая ивовым прутиком. Пилотка была у него на самом затылке, к новым брюкам пристали парашютики одуванчиков. «Кем он будет? — подумала Анастасия Павловна.— Ах, какая разница кем! Он будет человеком, как и все дети Степана Кузьмича. Человеком он будет...»

В любое время года, а особенно ранней осенью, когда земля так нарядна от красок, хорошо ездить в дальних поездах. Духоты уже нет, проводник принесет тебе чая, и, помешивая ложечкой, неторопливо беседуешь с попутчиками или просто смотришь в окно. Блеснет на излучине река, тревожно прогудит под колесами мост, покажутся и быстро уплывут назад полуголая рощица с грачиными гнездами, одинокий домик железнодорожника со стожком сена, с козой, привязанной у забора, с грядками и сараем у самого леса, со словами «Миру — мир», выложенными красным битым кирпичом по крутому брустверу бугорка...

Мне часто приходится ездить, и каждый раз, когда я вижу вот такой домик со стожком сена и самого хозяина, задубелого на ветрах, в неизменном брезентовом плаще, с желтым свернутым флажком, которым он указывает, что путь свободен, невольно думаю: а что это за человек, как он живет здесь, в этой глуши, где нет ни кино, ни клуба, ни даже деревни близко? Мне всегда хочется познакомиться с ним, поговорить, но ни один поезд не останавливается в таком месте, потому что это не полустанок и не разъезд даже, а просто боевой пост, просто такой-то и такой-то километр.

Но вот недавно случай привел меня в Западную Сибирь, в город Ишим, и я решил побывать на одном таком боевом посту, который видел из окна поезда. Ишимские железнодорожники, послушав мои объяснения о месте нахождения домика, разом воскликнули:

— Так это ж Сидоркин с 2 433-го километра!

И по тому, как они произносили эту фамилию, какую интонацию вложили в свои голоса, я понял, что Сидоркин здесь уважаем и, более того, любим ими.

Пробирались мы к 2 433-му километру на «газике». И застали Сидоркина в несколько странном положении: он лежал на рельсе и, вытянув шею, всматривался в даль. Но странного в его позе, как прояснилось потом, ничего не было. Он занимался обычной работой — вывешиванием пути, искал, нет ли где просадки, изгиба.

— Забивай знак напротив столба! — крикнул он своему помощнику и встал, отряхнул плащ от снега, полез в карман за кистетом.

Сидоркин высок, по-борцовски плотен, и вообще все у него крупное, как бы сработано на совесть, с размахом: лицо так лицо, руки так руки — пятерых враз обнять может. И густо пахнет от него табаком, креозотом — тем черным составом, кото-

рым пропитывают шпалы, а под плащом на широком солдатском ремне, как наган у милиционера, висит в дерматиновой кобуре «комплекс сигналов» — духовой рожок и два флажка. Раньше Алексей Семенович Сидоркин был путевым обходчиком, а теперь его должность, если именовать ее полностью, одним махом и не выговоришь: бригадир пути второго рабочего отделения восьмого околотка Ишимской дистанции пути Свердловской железной дороги.

— Его величество ефрейтор сибирской магистрали, — шутит Сидоркин и объясняет, что сегодня они сверлили дыры в рельсах, а завтра кое-где шпалы будут менять. За его бригадой закреплено шесть километров двухпутки и два моста. Участок вообще-то немалый, но сейчас многие работы механизированы и управляться с делами не так уж трудно.

Сидоркин докуривает козью ножку, кладет на плечо лопату и шагает с ней, как с винтовкой, размахивая правой рукой. Вечереет. Солнце уже скрылось за Лысой горой, и мягкая сумеречная тишина опустилась на землю. В кирпичном здании, или, как его называют по-старому, в полуказарме, где живут рабочие, зажглись огоньки. А за лесом, в дальней деревне, стучат чем-то железным и звонким. И еще доносится рокот, нарастающий шум. Это идет скорый поезд.

* * *

Около тридцати лет уже живет Сидоркин у Лысой горы. Сам он местный, из деревни Стрункино, коренной сибиряк. Сначала дали им с Марьей комнату в полуказарме, а потом пришлось в отдельный дом переселяться: дети подрастали — Колька, Вася, Галя.

К Лысой горе Сидоркин привык. Здесь хорошо и спокойно. Из окон видна река Чалгай, полная карасей и щук. Сразу же за путями тянутся заливные луга с озерами, а по гористым березнякам и осинникам полно ягод и гриба разного.

В пору летних отпусков Марья начинает пилить своего Сидоркина:

— Литер тебе бесплатный полагается, хоть бы съездил куда. Черное море есть на Кавказе, вода там, говорят, всегда теплая, и эти самые, как их... растения, апельсины...

— Море, оно, конечно, — набивая бекасинником патроны и собирая блесны, тянет уклончиво Сидоркин, — можно бы испускаться, конечно, и в море. Только ведь и у нас в Ишиме да и в Чалгае том же водица не хуже будет. Травкой пахнет, кустики по берегам, сомы в омутах...

— Да ну тебя! — обижается Марья. — О тебе же забочусь. Ногу бы полечил, поясницу...

Мария Пахомовна знает, что не только чистые сибирские просторы намертво приковали к Лысой горе ее Семеныча. Приковала его работа, эти шесть километров двухпутки, которые он содержит в отличном состоянии. И в праздники и в выходные дни встает Сидоркин с петухами, туго подпоясывается ремнем и, медленно шагая по хрустящей насыпи, всматривается в матовые полосы рельсов, постукивает молоточком по стыкам, следит за колесными парами мчащихся поездов: не горят ли буксы, не свисает ли с платформы какой предмет. Дорога важная, бойкая, и мало ли что может на ней случиться за самое короткое время? То ручеек, невеста откуда выросший, начнет грунт подмывать. То бревно откуда-то возьмется. А то как-то раненый лось, запнувшись, видимо, о рельсы, заснул посреди пути...

Идет Сидоркин, слушает, смотрит. А мимо, обдавая его ветром и запахом больших городов, несутся составы, спят на полках люди, полыхают окна вагона-ресторана, подбрасывают уголек проводники, поют песню тихоокеанские матросы. И радостно Сидоркину, нравится ему провожать эти вечно спешащие поезда, давать им зеленую улицу.

В полуказарме только начинают топить печи, а он уже все знает, все посмотрел, план наметил. Хозяйки, выходя за водой, приветствуют Сидоркина, лохматый Рекс трется о его кирзачи, а Татьяна Ракитина кричит от сарая:

— Эй, Семеныч, дрова у меня кончаются!

— Будут завтра тебе дрова, — говорит Сидоркин, присаживаясь на крыльцо, — не беспокойся, будут...

Муж у Татьяны Ракитиной утонул в Ишиме, оставив ее с тремя сыновьями. Татьяна дежурит на переезде, и Сидоркин помогает вдове чем может. А всего у Лысой горы живет, помимо Семеныча, три семьи: Кабановы, Плотниковы и Татьяна. И Сидоркин над всей этой «республикой» не только бригадир, а прокурор и защитник. Как чуть что, бегут к нему:

— Семеныч, утихомирь моего-то, с поллитрой, дьявол, пришел...

А куда еще пойдешь? До милиции далеко, до начальства не ближе, а Сидоркин — человек трезвый, двадцать лет в партии состоит и порядок любит. Нет у Лысой горы главнее Сидоркина, нет честнее его человека в округе. Он не ругается, не шумит, а только набычит шею и пробасит спокойно:

— На сибирской магистрали... это самое... беспорядков не допущу...

И тут же замолкает, например, тот же Прокопий Максимович, спешит извиниться. А Сидоркин как ни в чем не бывало

берется за дела, и горит у него все в руках, играет. На честно-сти, на умении работать и авторитет Сидоркина держится. Ради дела, ради своего участка он, как говорят, в огонь и в воду. Однажды январской ночью, поднятый тревожным стуком, выско-чил Сидоркин в одном полушубке поверх нательного белья и не ушел домой до тех пор, пока важный эшелон не тронулся. Вер-нулся на рассвете к печке, а ступни ног гремят, как палки, пальцы на руках побелели. Вот с тех пор и прихварывает Сидор-кин к непогоде. С тех пор и гонит его Марья к Черному морю...

* * *

— Ну, что ж, мужики, пора начинать,— говорит Сидоркин и подносит к глазам часы. Время он и так знает, но лишний раз взглянуть на часы ему приятно: именные, от самого министра. Может, и не помнит уже министр, что на 2 433-м километре от Москвы по сибирской магистрали есть такой Сидоркин, но его подарок после ордена Семеныч особенно ценит и бережет.

— Сейчас без пяти восемь,— продолжает Сидоркин, засте-гивая плащ.— До двенадцати нам надо шпалы у мостика сме-нить, а после обеда мастер приедет, покажем ему вчерашний участок. Вы пока приступайте, а я на поворот наведуясь, место там обозначу...

Сидоркин берет инструмент и шагает в сторону Чалгая. Впе-реди него бежит Рекс и лает на сорок, прыгающих по откосу. А по тропке, загораживаясь воротниками от колючего морозного ветра, бегут в школу Танюшка и Люба — второклассницы. Они что-то кричат Сидоркину, но тот ничего не слышит и только ма-шет девочкам рукой. «Скоро и не так еще завьюжит,— думает он, вздыхая,— заносы могут быть. Надо будет за Чалгаем защи-ту подновлять. Гальке валенки подшить надо. Лыжи не забыть бы снять с чердака, на зайца в воскресенье, может, выберусь...»

От Ишима, стремительно перемахивая мост и выбрасывая еле видимые кольца дыма, катит состав.

— Товарняк, — говорит Сидоркин Рексу,— ишь махина, конца не видать. Сойди-ка, старик, в сторонку, не мельтеши. Грузы на восток везут... магистраль у нас с тобой —каждые двадцать минут поезд. Да, магистраль... Самая ответственная... Понял?

Виляя хвостом, Рекс ложится на кромку откоса и вытягивает лапы. А Сидоркин достает из дерматиновой кобуры желтый фла-жок и стоит, как солдат.

СОДЕРЖАНИЕ

Тихие острова...	3
Королева русской песни	18
Жители лесного дома	27
Ефрейтор сибирской магистрали ,	44

Юрий Тарасович Грибов
ТИХИЕ ОСТРОВА...

Редактор — **П. КРАВЧЕНКО.**

Технический редактор **Я. Борисов.**

А 00172. Подписано к печати 12/VIII 1969 г. Формат бум. 70×108¹/₃₂.
Объем 2,10 условн. печ. л. 2,86 учетно-изд. л. Тираж 100 600.
Изд. № 1658. Заказ № 1777. Цена 6 коп.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
Москва, А-47, ул. «Правды», 24.